

ВСЕМИРНЫЕ

ОДЕССКІЯ НОВОСТИ

газета политическая, литературная, научная, общественная и коммерческая.

в мѣ "Уніонъ"
состоится
ДЛЯ
АНОНСЪ
состоится
ТОЛЬКО
ВЪЗДѢЛНОВОЙ БИРЖИ
Въ этомъ домѣ въ стражѣСообща съ Концертными Репертуаромъ
Концертъ Мари́н Ивановны Долиной
Известной артистки.
Всѣмъ любителямъ музыки.ГАЗЕТА ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ

№ 3 (85).

Август. 2013 год.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Крест
Ковентри
в Одессе

Признаюсь, не часто обращаемся мы в нашей газете к сугубо религиозной тематике. Хотя, конечно, радовались, когда был отстроен Преображенский собор, католический собор на Екатерининской, синагога на Еврейской, кирха на Новосельского.

Но бывают события вроде бы и не такого — общеодесского значения, но, если вдуматься, столь же важные для каждого одессита, хоть проходят они почти незамеченными.

Благодарен Евгению Волокину, который показал мне свой фоторепортаж о вручении Одессе, пока единственному городу в Украине, "Креста Ковентри".

Немного истории. 14 ноября 1940 года фашистская авиация в течение 11 часов непрерывно обстреливала английский город Ковентри. Были уничтожены не только промышленные здания и жилые дома, но и старинный кафедральный собор святого Михаила. Настоятель собора Ричард Ховард подобрал среди обломков три больших железных гвоздя и, скрепив их, соорудил самодельный крест. По его же просьбе на останках алтарной стены высекли простую и всем понятную надпись: "Отче, прости".

За прошедшие 72 года копии "Креста из гвоздей" установлены в 23 странах мира, их уже 163 креста, символизирующих мир, справедливость, примирение, призыв к отсутствию межнациональных и межконфессиональных войн.

В России такой крест был подарен Санкт-Петербургу в мае 2010 года. В Украине — первый и пока единственный "Крест Ковентри" передан в присутствии священников, прелатов из Белоруссии, Великобритании, Грузии, Германии, Польши, России, Румынии, Украины и Чехии одесскому собору Святого Павла на улице Новосельского.

Этот разрушенный собор настояниями граждан был возрожден из руины и запустения.

И пусть отсюда начнется дорога единения людей, населяющих и наш город, и нашу страну, и нашу, такую небольшую, планету.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

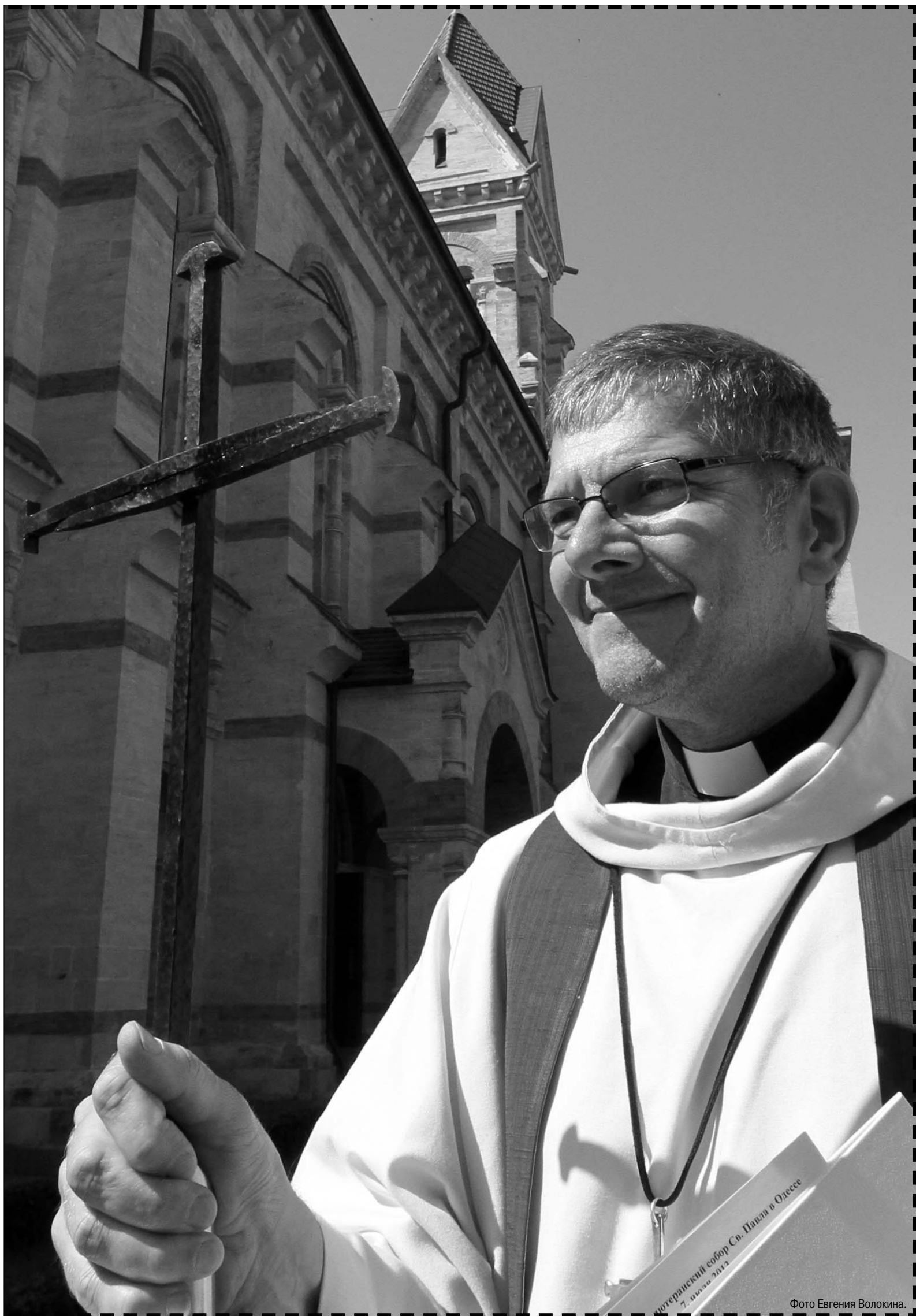


Фото Евгения Волокина.

Ким Литвак родился 24 февраля в г. Тиль-чин, но жил там всего лишь несколько месяцев. Окончил после армии ремесленное художественное училище, затем поступил в Треховское художественное училище и окончил его в 1958 году. Всё, написанное Анатолием, понравилось и мне, и дочке. Ещё раз спасибо за Ваше внимание. Наша семья и все друзья с нетерпением ждём завершения Вашего проекта.

С почтением к работе всей Вашей командой — Анна Литвак. annalitvak@mail.ru

25.06.13

Здравствуйте, Леонид! Полагаю, что именно с вами я сегодня созванивалась. К сожалению, наш разговор оборвался на полуслове, так как я звонила с мобильного, связь — международная, и деньги быстро иссякли. Отправляю информацию о нашей поездке.

Мы, группа православных христиан из Москвы, Тулы, Воронежа и Екатеринбургa, взрослые, молодежь 16 — 18 лет и 13 — 14-летние подростки (всего 15 человек) с 21 по 25 июля приезжаем в Одессу в краеведческую экспедицию. Нас интересует история нашей страны (прежде всего — XX в. и конца XX в.), а также судьбы людей, которые зачастую были трагичными. Одна из целей нашей поездки — знакомство с опытом подвига, верности Богу и людям, опытом возрождения и сохранения достоинства человека. Мы бы хотели встретиться с людьми, с которыми возможно общение на такие непростые темы. Также нам было бы интересно встретиться с потомками дворян, узнать, как и чем жили дворянские "гнезда", как воспитывали и к чему готовили детей (как мальчиков, так и девочек).

Мы, в свою очередь, могли бы поделиться воспоминаниями о своей прошлой годней поездке в Ессентуки, где Ефросинья Керсновская жила в последние годы своей жизни; показать фотографии домика, где она жила; могилы, где похоронены она и ее мама; передать свидетельства людей, которые лично знали Ефросинью Антоновну.

В Ессентуках, в краеведческом музее, мы проводили встречу, посвященную Е. Керсновской, "Сколько стоит человек?". Такую же

встречу мы проводили с подростками в фео-досийском музее Цветаевых.

Возможна ли встреча с членами вашего клуба на обозначенные темы? Может быть, кто-нибудь из вас согласится провести для нас небольшую экскурсию по Одессе?

С уважением —
Наталья Овчарова.
тел.: +7-906-580-6522
natasorella@gmail.com

Здравствуйте, меня зовут Змитроченко Алексей Юрьевич, мне 24 года. Вот уже третий год живу и работаю в России, в Алтайском крае. У нас маленький мебельный бизнес, торгую на российской фондовой бирже. Родился и вырос в Одессе, мой дом — Интеллигентные Чернышук и Родная Молдаванка, каждый дворик которой прочно сидит в сердце... Родом одесского "Черноморца", брат и племянник еще двух носителей одесского языка, живущих рядом со мной. Прошу принять меня во Всемирный клуб одесситов.

AL. Z "Alex Zmitrochenko"
alex_zmit@ukr.net

Очень рад стать частичкой клуба! Только находясь далеко от дома, понимаю, насколько наша Одесса уникальна. Всемирный клуб одесситов — яркий тому пример. Спасибо Вам!!!

Уважаемый Леонид Рукман!

Я нашёл в Интернете информацию о том, что мои студенческие друзья Анатолий Исаакович Горбатюк и Анатолий Васильевич Кравченко являются членами возглавляемого Вами Всемирного клуба одесситов (об этом я прочитал и увидел их фотографии на сайте: http://www.odessitclub.org/news_club/2007/1606.htm). В студенческие годы (1957 — 1964 гг.) я играл вместе с этими славными одесситами сначала в институтском джаз-оркестре (ОИСУ, ул. Дирихсона, 4), а потом — на танцплощадке Дюковского парка.

Мы были фанатами джаза. По собственной инициативе собирались на репетиции, использовали любую возможность для концертных выступлений. Да и играть каждый вечер

(каждое лето) на танцевальной площадке можно только из любви к музыке (см. последнюю страницу прилагаемого текста).

Дорогой Леонид, убедительно прошу помочь мне установить контакты с Горбатюком и Кравченко. Примите мне, если это возможно, адреса их электронной почты.

Заранее благодарю Вас —
профессор Коларов Владимир Фёдорович.
Новосибирский акадгеногородок, Морской пр-т, 60, кв. 10
(383) 330-90-01 luk@academ.org

Здравствуйте, Леонид.

Изучая некоторые вопросы истории Одессы, я заинтересовался таким фактом:

В Одессе в 1945 году судили, но НЕ ОСУДИЛИ бывшего губернатора Трансильвании Александру.

А в следующем, 1946-м, году его судил румынский суд в Бухаресте и приговорил к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. А ведь существовала практика судить и даже публично казнить военных преступников там, где они совершали свои преступления.

Чем объяснить факт неосуждения военного преступника одесским судом, где он совершил свои преступления и каково было решение одесского суда? Я думаю, что члены ВКО, известные историки и летописцы города, ответить на этот вопрос.

С уважением —
Ефим Глозман.
27 июля 2013 г.
Ефим Глозман glefim12@yandex.com

Уважаемый Леонид!

Спасибо за ответ. Меня этот вопрос заинтересовал, после того как я наткнулся в Интернете на информацию, что арест этого мерзавца был осуществлён по прямому указанию Сталина, что его возили в Москву и там допрашивали, а потом в Одессе судили.

Буду ждать новой информации.
Ефим.

Кстати, я тоже участник ВОВ. Воевал в составе 8-й гвардейской армии Чуйкова, закончил войну в Берлине.

Очень даже заявление!

Прошу принять меня в клуб одесситов!

Родители назвали меня Евгением, а волею судьбы я получил фамилию Тилимошенко. Думаю, что лучше обо мне расскажут мои произведения...

<http://www.proza.ru/avtor/shellenberg08>
Жил в Одессе, но сейчас проживаю в селе Ильичевка Коминтерновского района. Пусть, радом...)))
С уважением.

Уважаемые господа!

Обращаюсь к вам вот по какому вопросу.

Я являюсь племянником С.И. Кирсанова и сыном одесского литератора Р.М. Брусилковского. Архивы обоих находятся в Одесском литературном музее. Я родился в доме по Таганной ул., № 10, там же, где висит памятная доска С. Кирсанова.

О себе писать не стану — это легко прочесть в Википедии и на "Яндекс", а также на моём сайте: www.anatolbrusilov.com — там всё подробно изложено!

А дело вот в чём.

Недавно у вас вышла книжка "Кирсанов до Кирсанова". Поскольку я веду архив поэта, мне важно было бы получить эту книжку.

Увы, мой кузен В.С. Кирсанов, профессор и член Британского научного совета скончался пять лет назад, и более никого в роду не осталось.

Буду благодарен вам, если поможете!
29.07.13.

С уважением — Анатолий Брусилковский.

Здравствуйте, Леонид.

Мечтаю жить и работать в Вашем замечательном городе, родине большинства моих любимых писателей, их героев и моего отца. Я — гражданин Канады и России, бывший антисоветчик, инженер. Преподаватель английского и французского.

Дальше — после Вашего ответа.

Мдч.
Владимир.
Clark Vladimir <vclark@yandex.ru>
30.07.13.

Я родилась в Одессе, где родились мои прадедушка и прабабушка. Но я давно живу на Волге, в Саратове, и только Всемирный клуб одесситов, к которому имею честь принадлежать, связывает меня с родным городом.

И вдруг я узнаю о таких связях Одессы и Саратова, которые крепче любого морского каната, потому что за них заплачена слишком высокая цена.

Только крылья

...Это случилось почти полвека назад. Одесит Павел Шклярчук занимался в авиаклубе, имел разряд по планерному спорту, прыгал с парашютом. Затем поступил в Армавирское высшее военное училище лётчиков противовоздушной обороны. После IV курса Шклярчука направляют в Саратов. Он участвует в учебных полётах саратовских лётчиков.

6 июня 1966 года. День начинался обыкновенно. И вдруг на высоте 300 метров у самолёта Шклярчука отказал двигатель. А он уже летел к окраине Саратова — Заводской район, посёлок Увек, пляж. Под крылом — железнодорожный мост через Волгу, тогда — главное звено связи между Россией и Средней Азией, большая нефтебаза, плавящие по реке теплоходы. Это место называют "ковбой": многонаселенный центр городского района. Очевидцы вспоминали, что самолёт то зависал, то снижался и стремительно потерял высоту у самого моста. Казалось, сделать уже ничего было нельзя.

Вот как описал это событие саратовский школьник Кирилл Балака, сохранивший большой документальный материал о подвиге Шклярчука: "От взрывной волны, как спичка, могли вспыхнуть огромные нефтехранилища, и от посёлка не осталось бы и следа. Лётчик в любой момент мог катапультироваться, но он понимал, что там, внизу, кипит жизнь. Дети отдыхали на пляже, взрослые трудились, кто-то спокойно гулял, не подозревая о надвигающейся опасности..."

Было лишь одно правильное решение — направить машину в Волгу. В этом случае Павел Шклярчук успевал выдобраться. Но по случайному стечению обстоятельств именно в этот момент по реке плыл большой многопалубный теплоход. Каким-то чудом курсанту удалось немного набрать высоту и "перемахнуть" через препятствие.

Внизу — железнодорожный мост и нефтебаза. Лётчик отстал от себя, и самолёт исчез под водой.

Тамара Профимовна Ларина работала тогда в увекской парикмахерской. Она помнит всё до последней минуты: "Вдруг раздался какой-то гул. Низко-низко пролетел самолёт в сторону Волги, вдруг он как будто бы вздрогнул и резко пошёл вниз. Кресло с лётчиком оторвалось, и всё скрылось в воде. На следующий день приехала мать. Она целую неделю ходила по берегу и звала сына. Она так кричала..." С ней плакал весь Увек.

Водолазы несколько дней искали тело пилота. Нашли лишь крылья самолёта. Курсант Шклярчук был посмертно награждён орденом Красной Звезды и упомянут в небольшой заметке в центральной армейской газете "Красная звезда". "Закранный" тогда город Саратов там назван не был.

Прошло 47 лет. Одесса не забыла своего героического парня: мемориальная доска на доме, где жил будущий лётчик, назван парк его именем (сохранился ли сейчас?). Улица в Киевском районе, неподалеку от Люстдорфской дороги, тоже носит имя Шклярчука. Официальный Саратов, к стыду своему (не говорю про увекцев: они до сих пор вспоминают какие-то подробности трагедии), о подвиге курсанта долго не упоминал. Только песня известного барда Юрия Визбора сохранила о нем память. Нашла в Интернете два ее варианта — ценный, под названием "Курсант", и тот, где есть посвящение П. Шклярчуку.

Входит в цикл двух песен "24 секунды подвига". Вот эти, "выкинутые" из песни слова:

"Пропали, пропали все звуки // И странная, странная тишь, // Как будто не крылья, а руки, // Как ласточка, выгуль, летишь. // Как будто бежишь по песку ты, // А двигать, правда, стоит. // Секунды, секунды, секунды, // Последние шансы твои. // Случись же такое вот дело, // Я сам же хотел в небеса. // Я лётчик — товарищ Гастелло, // Я Пашка — обычный курсант. // Я падаю взрывчатый телом, // А крыши согнулись и жгут. // Я, кажется, знаю, что сделать, // Чтоб эту не сделать беду".

Песня не стала хитом авторской песни, как другие произведения барда. Большой успех ждал песню "Огромное небо" Фельцмана на стихи Рожественского, посвящённую совершенно аналогичному подвигу. Там классные лётчики, асы (у нас — одесский мальчишка, курсант!) спасли Берлин, когда самолёт стал падать на жилые кварталы. Помните эмоциональное его исполнение Эдитой Пьехой? "И надо бы прыгать — // Не вышел полёт!.. // Но рухнет на город // Пустой самолёт // Пройдёт, не оставив // Живого следа, // И тысячи жизней, и тысячи жизней, // И тысячи жизней прервутся тогда!"

Два этих события произошли с разницей всего два месяца. 6 апреля 1966 года лётчики нашей бомбардировочной дивизии, дислоцировавшейся тогда в немецком городке Финов (Finow), пролетали над Берлином, когда у самолёта отказали оба двигателя сразу, он стал падать на жилые кварталы. Лётчикам удалось отвести машину за черту города. Они решили посадить ее в лесу, но там оказалось немецкое кладбище, где как раз отмечали Пасху. Направили было самолёт к озеру, однако, "возникшая вдруг впереди дамба с шоссе, на котором было много автомобилей, вновь заставила командира экипажа Капустина немощными физическим усилием приподнять уже совершенно неуправляемый самолёт и перенести его через дамбу. После этого манёвра машина резко и с большими наклонами ушла в толстый слой ила на дне озера".

Немецкие власти трепетно отнеслись к подвигу наших лётчиков. На похороны прислали делегацию всех городов тогдашней ГДР. Играл британский военный оркестр. Чтят героев и в нынешней Германии. 30 марта 2001 года в честь 35-летия их подвига в Берлине прошли торжественные мероприятия, на аэродроме Финова появился мемориал. На обелиске написано по-

немецки: "В память всех жертв холодной войны. Они отдали свои жизни, чтобы спасти других людей. Старший лейтенант Янов, капитан Капустин".

Немцы ценят быть благодарными. В нашем городе двадцатилетний парень спас нефтебазу, шёл через Волгу, жёлоб по селам с тысячами жителей. И... полное забвение на многие и многие годы. Ситуация начала меняться только в начале 2000-х годов, когда однокашник Павла Шклярчука по военному училищу Владимир Бараев обратился в городскую администрацию Саратова с предложением установить стелу к пятидесятилетию подвига отважного одессита. Хотя бы к пятидесятилетию!.. Волокита тянулась еще несколько лет.

Бараев был во все колокола. Читала его глас вопиющего в Интернете. Он написал, что песню Визбора о своем друге возить с собой в мобильнике, приводил отписки саратовских чиновников, шедевр формализма: "В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год, утверждённой решением Саратовской городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год, сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования "Город Саратов" охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа, средств на восстановление данного памятника не предусмотрено".

Владимиру Бараеву удалось встретить такого же неравнодушного человека — выпускника 34-й саратовской школы Кирилла Балака. Заметка старшеклассника о Шклярчуке обошла все сайты и была... полностью присвоена одним очень недовольным. Восстанавливаю справедливость: автор эмоциональной и документально точной заметки "Забитый подвиг курсанта Павла Шклярчука" — Кирилл Балака.

Только к лету 13-го года удалось "пробить" в нашем городе памятный знак в честь Шклярчука. Помогли спонсоры, изыскал средства депутат городской думы Сергей Тусев, подключилась администрация Заводского района, принял деятельное участие районный совет ветеранов. Открыли временный памятник с митингом и речами, всё, как положено.

Глыба камня и табличка со строками песни Визбора и годом гибели курсанта-лётчика. Но видна она далеко над кручей, на фоне бездонно синего летнего неба — и из Увек, и с железнодорожного моста, и с проплывающих мимо теплоходов.

Когда подойдёт круглая дата — полвека подвига одессита, здесь появится легкая, как крыло его упавшего самолёта, высокая стела (очень надеюсь, что появится!). Видитесь уже памятные медали в честь Шклярчука. Везу их скоро в Одессу для областного краеведческого музея.

Лучше поздно, чем... совсем поздно. Спасибо, родной город. Прости за 47-летнюю отсрочку.

Цирина Крайнова.

Старинным может быть друг. Или какой-то особенно ценный давний предмет... "Старинным" называется 4-летний Боря своего прадеда — Виктора Григорьевича, потому что прадеду... 102 года.

Знакомство с таким удивительным человеком, который переступил порог 100-летнего юбилея, — уже само по себе волнующее событие. Виктор Григорьевич Сизов оказался доброжелательнейшим, обязательным, излучающим спокойствие человеком. Меня тепло приняли в его семье, в красивом доме на Большом Фонтане.

Несколько часов общения пролетели быстро; я боялась утомить своего собеседника. Те воспоминания, которыми поделился Виктор Григорьевич, наполнили меня каким-то особым содержанием. И мне даже пришлось посидеть немного над морем, в конце улицы, на маленькой террасе с фруктовыми деревьями, детскими качелями и знойным июльским ветерком, чтобы уместить в своей памяти то, что я услышала...

Видеть человека, который видел царя, — на сегодняшний день это что-то сверхъестественное! Виктор Сизов видел! Было это в Санкт-Петербурге, где родился и жил Виктор Григорьевич со своей семьей. Перед началом учебного года мама повела детей — Виктора и его брата Льва — в церковь на Петровскую набережную, в домик Петра (до революции какое-то время он использовался как часовня). В этот момент попросили всех расступиться! "Царь идет! Посторонитесь, пожалуйста!" И Николай II прошествовал с Александрой Федоровной, посадил ее в пролетку, обернулся, помахал рукой народу, и — они уехали. Мама стояла, прижав детей к себе... "Какой же он — царь?" — спросила я. "Симпатичный очень", — ответил Виктор Григорьевич. Все это происходило в 1916 (!) году, когда Виктору Сизову было 6 лет...

В семье Сизовых было трое сыновей — Лев, Виктор и Борис. Отец, участник войны 1914 года, заведовал канцелярией Санкт-Петербургского политехнического института. Когда началась революция, в институтском городке появился плакат: "Свобода всем! Можете бастовать!" Семья Сизовых не участвовала в революционных событиях.

В 1932 году Виктор окончил Ленинградский кораблестроительный институт. А уже в 1934-м, вскоре после убийства Кирова, в Казахстан были сосланы несколько составов "социально опасных". В число которых по необъясненным причинам попала и семья Виктора Григорьевича.

До места назначения пришлось добираться от станции трое суток пешком, по таявшему снегу...

Возможно, все это случилось от того, что кто-то пожелал занять хорошую квартиру Сизовых... Ссылные не чувствовали за собой вины, поэтому написали письмо с просьбой пересмотреть приговор. Было разрешено жить и работать в другом месте — но только не в Москве и не в Ленинграде. И обязательно первого, одиннадцатого и двадцать первого числа каждого месяца являться в НКВД на регистрацию со своим удостоверением ссылного. Паспорт был не положен. Самое удивительное, как мне кажется, в этой истории даже не то, как мужественно проходили люди все кошмарные испытания, выпавшие на их долю в двадцатом веке, по мере развития советского государства. А то, как к этому относится сам Виктор Сизов: как и многие его современники, считает, что им повезло в том, что их сослали в 34-м, а не в 37-м. "А то нас бы расстреляли", — говорит он. Следует упомянуть, что среди попавших в ссылку людей было немало потомков аристократических русских семей — Суворовых, Щербатовых, князя и графы, с которыми познакомился и подружился Виктор Сизов.

Следующая страница биографии Виктора Григорьевича связана с Великой Отечественной. Блокадный Ленинград, эвакуация, работа по испытанию огнеметов с дистанционным управлением. Рождение дочери Аллы, затем второй дочери — Елены... О такой долгой и полной разных событий жизни можно писать много томов. Больше века из истории!

Истории страны, истории народа, истории судьбы одного удивительного человека.

Впервые в Одессу Виктор попал еще в 1929 году, на практику, куда студентов возили из Ленинграда. Два месяца они жили в водном институте и занимались на учебном судне "Игнатий Сергеев". Было жаркое одесское лето. Именно таким осталось первое впечатление о нашем городе у юного Виктора Сизова.

А уже в 1945 году, после войны, по предложению профессора Павленко Виктор Григорьевич перебрался в Одессу окончательно. В то время водный институт еще хранил память о бывшем в нем прежде институте благородных девиц — его выпускницы работали секретарями факультетов.

Катя ПИМЕНОВА

Старинный



Виктор Григорьевич какое-то время вынужден был жить прямо в аудитории, он просто стелил там матрас и спал. А умыться приходилось в институтском бассейне. Других условий в то время для преподавателя просто не было.

Преподавать Виктор Григорьевич начал еще в 1936 году на кораблестроительном факультете индустриального института в городе Горький. Одним из его студентов в то время был Ростислав Алексеев — инженер-кораблестроитель, будущий легендарный создатель судов на подводных крыльях, совершивший революцию в мировом судостроении. Пассажирские суда на водных крыльях "Ракета" и "Комета", катера "Спутник" и "Метеор", экранолеты и экранопланы — проекты Ростислава Алексеева, который был удостоен Сталинской и Ленинской премий за свои изобретения в области судостроения. Его именем назван тот самый, теперь уже Нижегородский государственный технический университет, в котором до войны преподавал Виктор Сизов.

Взаимоотношения со студентами у Виктора Григорьевича всегда складывались успешно. Он, настоящий специалист в своей области знаний, ценит добросовестное отношение к учебе. Однажды курсант, пропустивший из-за болезни занятия, пришел к Сизову домой сдавать экзамен. Он получил оценку "хорошо" и ушел. Домашние стали спрашивать, отчего же Виктор Григорьевич не поставил "отлично", ведь парень прекрасно выучил пред-

мет... Вдруг раздался звонок в дверь — студент забыл свою зачетку. Сизов решительно объявил ему: "Я передумал! Я Вам поставлю "отлично!"

Еще один случай, о котором Виктор Григорьевич вспоминает неохотно, смущаясь, пожалуй, ярко иллюстрирует его отношение к работе. После окончания лекции, которую Сизов читал студентам-заочникам — морякам с большим опытом работы, в аудитории раздалась аплодисменты! Так ученики оценили уровень практических знаний своего теоретика-преподавателя.

Решение важных для практики задач по теории корабля для Виктора Григорьевича всегда было весьма увлекательным занятием. Существует более 130 его фундаментальных статей. Даже сейчас, когда он начинает рассказывать о своей любимой теории корабля, то так увлекается, что готов подробно и долго рассуждать о качке, ходкости и сопротивляемости... Движение к новым целям не покидает Виктора Сизова — он намерен организовать перевод своей книги на английский язык.

Такая беззаветная преданность своему делу, существующая с юности до сегодняшних дней, изумляет до глубины души. Десятилетия честного труда, сотни, а может быть, и тысячи, подготовленных специалистов. Вера в себя и доверие своей любимой профессии.

С 1954 года Виктор Сизов стал работать в Одесском высшем мореходном училище. Сегодня это Одесская национальная морская

академия. До 2012 года Виктор Григорьевич преподавал на кафедре теории и устройства корабля. То есть — более полвека! Свою специальность он считает очень интересной: "Когда получаешь результат, сердце начинает биться чаще!" Учебник "Теория корабля", неоднократно переиздаваемый, итог научных и практических исследований Виктора Сизова, является незаменимым и популярным пособием для студентов многих вузов Украины, получающих морские профессии.

Мне было интересно, как Виктор Григорьевич относится к современной молодежи, к политике. Не предвзвешенно ли?! Но нет — он настроен весьма оптимистично и толерантно. То спокойствие, которое он излучает, создает счастливую ауру его семьи: дочери Елены, внука с супругой и двух очаровательных правнуков — Бори и Вити, которые, по словам прадедушки, заботливые дети, укрощающие его жизнь. Боре 4 года, Вите — 8. Когда Виктор Григорьевич был в их возрасте — шло второе десятилетие XX века... Это было сто лет назад. Так много событий прошло за это время! История и жизнь! Что чему подвластно?!

Когда мы прощались с Виктором Григорьевичем Сизовым, я протянула руку для рукопожатия. Он галантно поцеловал ее. Это было так трогательно и приятно, что я ушла совершенно окрыленной. И потом долго всем хвасталась: "Представляете, я познакомилась с человеком, которому 102 года!!!" Представляете?

Ева КРАСНОВА, Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ

170 лет одесской фотографии

"Фотография — удивительный сплав химии и сердца, оптики и чувства, аппарата и мысли".
Фотографический журнал, 1864 год.

170 лет назад в Одессе начал работать первый фотографический кабинет, сохранявший еще долгое время черты художественного кабинета. Тонкая грань между художественным и фотографическим заведением в 1840-х годах была с трудом различима. Да и позднее в фотозаведениях трудились опытные живописцы — ретушеры, доводившие портреты состоятельных господ до совершенства.

Согласно скрупулезным исследованиям, проведенным известным одесским краеведом Олегом Губарем, историческое объявление в газете "Одесский вестник" об открытии фотографии в городе Одесса появилось 27 февраля 1843 года и принадлежало живописцу Филиппу Гаазу. Оно гласило: "...Достигши высокой степени совершенства в сходстве и чистоте отделки портретов посредством дагерротипа, приглашаю любителей сего удивительного изобретения пожаловать ко мне для составления понятия о моих нынешних произведениях. Портрет одной особы, в тени, отпечатывается в продолжение 10 — 14 секунд, а снимок неодушевленного предмета (например, с рисунка, бюста, картины) — в одну секунду...". С этого объявления и начался отсчет истории одесской фотографии.

Причем история одесской фотографии "отстала" от московской всего лишь на три года — первый в России фотографический кабинет была открыт в Москве в июне 1840 года талантливым русским новатором и изобретателем Алексеем Федоровичем Грековым, которого по праву можно считать первым русским фотографом-портретистом.

А начало фотографии было положено в 1839 году с появлением дагерротипии, изобретенной Луи Дагерром в содружестве с физиком Иосифом Ньепсом. Двумя годами позднее английский изобретатель Уильям Талбот предложил способ калотипии, легший в основу современной фотографии. Медальоны с портретами этой троицы изобретателей фотографии всего мира размещали на паспорту своих снимков.

Но вернемся в Одессу, где в 1840-х годах одновременно с Филиппом Гаазом трудились и другие живописцы, использовавшие нововведение — дагерротипию. Это И. Кубат и Л. Диц, действовавшие поначалу совместно, позднее произошла рокировка: Диц взял напарником Барта, а Кубат — Шмидта. Имена этих и нескольких других пионеров фотографического дела в Одессе — конкурентов Ф. Гаазы — остались лишь в текстах объявлений одесской прессы того времени да в списках редких справочников тех лет. Дагерротипы, изготовленные ими, по техническим причинам до нас не дошли, сохранились лишь единичные экземпляры в музеях и специальных лабораториях.

Одним из первых Ф. Гааз стал использовать вместо дагерротипии калотипию. Основой обоих методов служил йодид серебра, но калотипия позволяла получать не позитив, а негатив, с которого можно было легко изготовить множество отпечатков.



Фото Мигурского

Неутомимый пионер одесской фотографии Филипп Гааз, чтобы выйти победителем в конкурентной борьбе со своими коллегами постоянно применял усвоенные в Европе новинки. Так, в газете "Одесский вестник" в 1856 году сказано о первом одесском фотографическом кабинете: "Живописец и фотограф Ф. Гааз (так в объявлении, — авт.), салон которого помещается в доме Генделя на Полицейской улице, выполняет стереоскопические портреты с удивительным рельефом. Будучи раскрашены, они производят совершенную иллюзию реального лица". Речь идет о стереопарных снимках, которые были очень популярны во второй половине XIX века и начале XX века.

В 1857 году Филипп Гааз заявил в газетном объявлении "о новом способе исполнения фотопортретов "на клеенке". Цена таких портретов от 3 до 4 рублей серебром, фотографий на бумаге — 7 рублей". Ясно, что фотографии в это время — дорогое удовольствие, доступное только "сливкам" общества.

В это же время в "Одесском вестнике" одесский репортер характеризует первого одесского фотографа как опытного мастера: "С легкой руки нашего ветерана, фотографа Гаазы, число фотографов в Одессе в настоящее время очень велико". В "Новороссийском календаре" за 1860 год их насчитывалось 5 вместе с ветераном Ф. Гаазом.

В нашей коллекции есть фотография, выполненная Гаазом: прекрасно сохранившийся ландшафтный снимок "визитного" формата Покровской церкви на Александровском проспекте. (Церковь варварски уничтожена в 1930-х годах, на ее месте выстроена школа № 119, теперь — гимназия № 1 имени А. Быстриной.) Известно, что пионер одес-

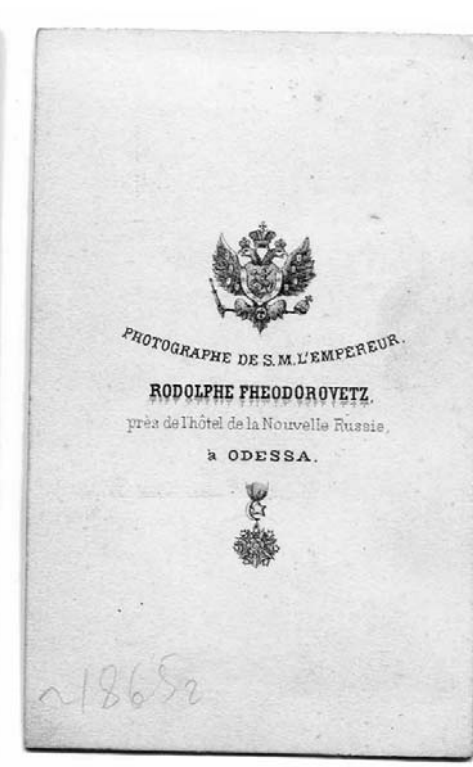


Фото Феодоровца

ской фотографии с большим мастерством и любовью снимал одесские виды.

На паспорту фотографии обозначена только фамилия мастера-фотографа. Нетрудно заметить, разглядывая снимок, что Александровский проспект, где располагалась Покровская церковь, не замощен, что соответствует характеристике его, данной в путеводителе по Одессе 1869 года "Одесская старина": "...давно заброшенный и вырубленный бульвар...". Кроме того, на снимке нет фонтана, установленного перед Покровской церковью на Александровском проспекте одновременно с другими городскими фонтанами после пуска водопровода из Днестра в 1874 году.

Более точно датировать фотографию позволили газетные объявления 1864 года, где говорилось о дюжине видов Одессы визитного формата, выполненных Филиппом Гаазом, очевидно, к 70-летию города. Т. е. наша "визитка" с изображением Покровской церкви датируется 1864 годом и входит в серию визитного формата фотографий видов Одессы, которую Ф. Гааз экспонировал на первой выставке Одесского общества изящных искусств в 1865 году.

Многочисленные сыновья, дочери и зятья первого одесского фотографа не унаследовали его любовь к фотографии, не овладели необходимыми навыками и не продолжили дело отца.

В середине 1850-х годов в Одессе появились новые фотомастера: Мориц Гешелес (Гешеле); Иосиф Кордыш; неклассный художник, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств Александр Хлопонин; живописец Мюнхенской академии художеств английский подданный, поляк Рудольф Феодоровец; выпускник Ришельевского лицея шляхетный поляк Иосиф-Карл Мигурский.

Мы подробно остановились на первом одесском фотографическом кабинете, но его последователям суждено было сыграть не менее заметную роль, стать мэтрами фотографического дела, снискав европейскую славу. Каждому из выдающихся одесских фотографов мы посвятили отдельные главы в своем альбоме "Старая Одесса. Фотографы и фотографии", который уже подготовлен к печати и продолжает серию альбомов, посвященных истории Одессы.

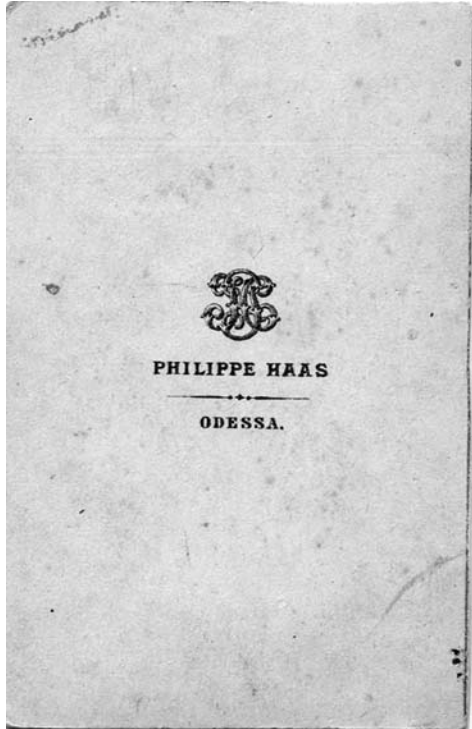
Просим прощения у читателей, что наша статья об одесских фотографах, напечатанная в 2006 году в газете "Тиква" ("Op Sameax") и до сих пор "гуляющая" по просторам Интернета, содержит много неточностей, которые мы исправляли в новом издании. За прошедшие семь лет мы отыскали в архиве и библиотеках множество уточняющих сведений об одесских фотографах, их работе в нашем городе.

Почти одновременно на фотографическом арене Одессы появились талантливые мастера: И.-К. Мигурский, А. Хлопонин и Р. Феодоровец. Прекрасный фотограф и умелый предприниматель, господин Мигурский сохранил много лет магазин фотографических принадлежностей, фотографический институт, где получали отличное фотографическое образование за приличную сумму многие заслуженные впоследствии мастера российской светописы. Им был написан и издан в 1859 году учебник практической фотографии, созданы замечательные портреты одесситов и самой Одессы. Иосиф-Карл Мигурский получал медали высокого достоинства на престижных международных и российских выставках.

Другой корифей фотографического дела — Александр Хлопонин — не выставлял



Фото Гаазы



работы на выставки. Однако созданная им портретная галерея одесситов заслужила самые высокие похвалы, причем не только одесситов, но и парижан: он был принят в члены парижского фотографического общества. Как бизнесмен, Хлопонин реализовал интересный проект: он по договоренности с городскими властями на принадлежащей городу земле построил на свои средства двухэтажный дом в самом центре города, на углу Дерибасовской и Преображенской, и эксплуатировал его почти 20 лет. Окупился ли этот проект, можно только догадываться, но ателье А. Хлопонина считалось очень престижным в Одессе.

Живописец и отличный фотограф Рудольф Феодоровец был прекрасным портретистом и одновременно исполнителем ландшафтных снимков. В течение нескольких лет он трудился в фотосалонах более предприимчивых собратьев по фотографическому делу и только в 1862 году открыл собственное заведение, в котором успешно трудился до конца 1870-х годов. Недавно в Великобритании объявился обладатель около 40 интереснейших этнографических фотографий из серии "Типы России", выполненных Рудольфом Феодоровцем, видимо, по чьему-то заказу в 1869 году. В нашей коллекции есть не датированный снимок молодой девушки в украинском наряде, с перекинутой через плечо толстой косой. Возможно, фотография выполнена для этнографической серии.

В 1870-х годах мастер фотографии открыл еще одно заведение, да не где-нибудь, а в Париже. Чтобы справиться с двумя территориально далеко разнесенными заведениями, Феодоровец в парижской "Русской фотографии" сотрудничал с господином Чоле, а во "Французской фотографии" в Одессе его успешно заменял управляющий В.Г. Чеховский. После смерти Р. Феодоровца в 1878 году его дочь Ева Феодоровец решила продолжить бизнес отца, и некий нанятый ею фотограф снимал одесситов несколько лет под маркой Феодоровца. Однако мероприятие это длительного успеха не имело.

Бывший управляющий Феодоровца В.Г. Чеховский открыл собственное заведение, проработавшее на Дерибасовской улице около 20 лет. Известно немало фотографических династий Одессы, и Василий Григорьевич Чеховский был родоначальником одной из них. Фотографисткой и членом фотографического общества была его супруга Евдокия Платоновна. Плодотворно работая в Одессе, Василий Григорьевич рискнул открыть одновременно фотосалон в центре Москвы, на Петровке, в котором успешно трудились его супруга и сын, который со временем открыл собственный фотосалон в центре Москвы.

Работая в Москве, господин Чеховский заключил договор с Яковом Белоцерковским, согласно которому в течение почти 10 лет фамилия Чеховского сохранялась на паспорту снимков наряду с фамилией Белоцерковского.

Успешный фотограф, господин Белоцерковский был одним из членов одесской фотографической семьи Белоцерковских. Во всяком случае, одновременно с ним в Одессе трудились его отец Аврум и брат Мирон Белоцерковские, работавшие под вывеской "Новороссийской фотографии".

Оставили заметный след на фотографическом поприще Одессы отец и сын Маргулиусы, причем Самсон Маргулиус был судебно-полицейским фотографом, осуществляя для одесской полиции экспертизу документов.

Предполагаем, что братьями были дистанцировавшиеся друг от друга опытные и многолетние владельцы фотосалонов в Одессе Иосиф и Абрам Вайнштейны. Оба они носили отчество Гершевич и происходили из алеш-



Фото Вайнштейнов

кинских мещан, но рассматривали друг друга как конкурентов. Иосиф Вайнштейн предупреждал потенциальных клиентов, что просит не путать его, имевшего двадцатилетнюю фотографическую практику, с владельцем вновь открытой фотографии А. Вайнштейном. Оба владельца проработали в нашем городе много лет.

Яркий фотограф и многодетный отец, турецкий подданный Иван Антонопуло приехал в Одессу из Таганрога в 1871 году и внес необыкновенно яркий вклад в историю города, создав замечательные портреты одесситов и множество впечатляющих видов Южной Пальмиры. Кто-то из его детей — Д.И. Антонопуло — пытался обустроиться в Одессе, но вскоре переехал в Феодосию, где активно работал много лет.

Дочь И. Антонопуло Клара Ивановна вышла замуж за фотографа — грека Ф. Иорданиса, который работал вместе с тестем, управляя его заведением. Некоторое время господин Иорданис содержал фотозаведение самостоятельно.

Очень интересный фотографический клан, основателем которого был Лев Тираспольский, открывший свой салон в Лодзи, Варшаве и Воронеже. В Одессе, на Дерибасовской, 11, в доме Пурица, его компаньонами, а по сути — производителями работ, был А. Горнштейн, затем А. Бернарди. Брат Якова Тираспольского, Наум Львович Тираспольский, содержал много лет фотозаведение в Херсоне и Екатеринославе, где заслужил много престижных российских и зарубежных наград.

Хочется рассказать о дворянской фотографической семье Яворовских, родоначальник которой — Александр (Адам) Яворовский — был отличным фотографом, содержал в 1870-е "Русскую фотографию" на Дерибасовской улице, позднее трудился на благо



Фото Антонопуло

семьи Грабязж, обучил фотографическим премудростям своего сына Леонида (Льва), который более 25 лет успешно фотографировал одесситов в Городском саду.

Очень интересная семейная линия фотографов Бескиных. Голда Бескин числилась владелицей фотосалона в Одессе на Пересыпи с 1907 года по 1925 год. Позднее на фотографическую арену Южной Пальмиры вышел Григорий Бескин, который обосновался на Дальнической, 2, угол Степовой.

Жители Молдаванки с удовольствием фотографировались у Бескина, т. к. у него для молдаванской бедноты всегда находились приукрашающие невзрачную одежду атрибуты: для девушек — меховые палантины, зонтики и т. п., для мужчин — тросточки, шляпы. Люди старшего поколения помнят Григория Бескина уже маститым фотографом, в 1940 — 1950-е годы снимавшим по квитанциям в ателье на Ленина, 12, а без квитанции, в обход налогов, у себя на дому. Фотографии получались чаще всего удачными, и многие из них хранятся по сей день в альбомах старых одесситов.

Родоначальница одесского фотографического клана Вайц — жена ярмолинского мещанина Ревекка Вайц — начала свою деятельность в 1901 году на "ближней Молдаванке", на Колонтаевской, 10. Успешное ведение дел дало возможность предприимчивой даме открыть со временем еще два заведения, в начале Пересыпи и вблизи Нового базара, где трудились ее родственники С. Вайц и В. Вайц, однако, владелицей числилась она сама.

Три брата Осип, Беньямин и Мордко (Марк) Соломоновичи Померанцы в начале XX века дружно начали в Одессе успешную фотографическую и цинкографическую карьеру. Марк Соломонович со временем сосредоточился на цинкографии, преуспев в этом деле и даже после национализации трудился как рядовой сотрудник в бывшем собственном заведении, выпускавшем в советские времена популярный одесский журнал "Шквал". Два других брата Померанцы до 1930-х годов фотографировали одесситов на Ришельевской, 23, угол



Еврейской, назвав свое фотозаведение "Унион". Возможно, они названием хотели подчеркнуть свой нерушимый братский союз.

Мы привели лишь небольшую часть описанных в новом альбоме фотозаведений и их владельцев. Аспект родственности, семейственности, преемственности в фотографическом деле нам показался очень интересным. Можно только догадываться в силу собственного жизненного опыта, какие страсти бурлили в те времена внутри каждого предприятия. Как тогда, так и теперь, все зависит от конкретных людей, их порядочности, родствен-



Фото Белоцерковского



Фото Яворского

Хаим ГЛИКСБЕРГ

Похороны в Одессе



На широком дворе Одесской общины (в Треугольном переулке, с главным входом с Базарной улицы) находилась Хевра Кадиша. Это был типичный одесский двор. Верхний этаж с застеклёнными балконами на квадратных каменных колоннах. В дальнем конце главного двора были хранилища и стойла. Здесь же стояли гробы (в Одессе хоронили в гробах). Цинковые гробы для богатых, деревянные, покрытые чёрным бархатом с серебряной лентой по краям, для низшего уровня, чёрные деревянные для бедных, которых хоронили на Слободке-Романовке. Здесь же стояли разные "катафалки", зимние коляски, повозки, высокие вагоны для цветов и других похоронных принадлежностей. Пахло дёгтем, кожей, сеном, лошадиной мочой. На немощёном дворе лежали кучи сёдел, вожжей и сбруи. Кое-где пробивалась зелёная трава. Стояли автомобили, ожидавшие ремонта, плотники мастерские наполняли воздух запахами досок, клея и краски.

Когда богатый или известный человек умирал, двор сразу оживлялся. Человек, отвечающий за лошадей, мазал дёгтем их копыта и привязывал три пары сияющих, как воронье крыло, лошадей к вагону с чёрной и серебряной гравировкой, на высоких резиновых колёсах с пружинами. На вагоне выгравировано: "Правосудие пойдёт перед ним" и другие подходящие изречения. Этот же человек покрывал лошадей сеточной попоной.

В этих первого класса вагонах не было места для кучера, и он шёл и вёл лошадей с помощью верёвки. Кучера носили много лакированного и одежду со шляпой, подобно английским кучерам. Еврейские шамесы были в чёрных пальто с пуговицами и серебряными полосками. На лацканах их пальто были вышиты буквы хев и кад (Хевра Кадиша). Шамесы носили блестящие высокие шляпы с широкой серебряной лентой и с серебряным пером на верхушке. Они носили также белые перчатки.

Это происходило в дни перед первой мировой войной, когда смерть одного человека потрясала улицу. Похороны проводились без спешки. Вагон стоял более часа перед домом, и медленно, очень медленно собирались друзья и родственники. Кантор и дирижёр хора приезжали на отдельных бричках. Гроб несли по улицам города не спеша, и провожающие следовали за ним тоже медленно. Медленно вагон привязывался к лошадям, покрытым чёрной кружевной попоной. Лошади направлялись вожжами, и размеренные звуки идущих лошадей перебивались звуками скорбящих поэтов в бархатных шапках и чёрных одеждах с белыми воротниками. Похороны останавливались перед синагогами со специальным извещением на дверях. Канторами были Штейнберг с бородой, как у Герцеля, или Ройтман с золотыми кудрями и мягкой бородой. В те дни большинство имело большие бороды, не то что канторы наших дней, которые стараются быть похожими на оперных певцов. Кантор выходил медленно из брички, поднимая свою одежду одной рукой, как женщины делали бы, и затем долго проводил службу, сопровождаемую хором. Толпа шла на кладбище пешком. В отличие от шумных, суетливых, глупых дней, когда умершего быстро доставляют к месту захоронения на автомобиле, а провожающие теснятся в пыльных автобусах.

Да. В Одессе они знали, как проводить похороны. Церемониймейстером на похоронах первого класса был раввин Меир Пречеп. Он подходил к началу процессии и проверял, всё ли готово для похорон. Пречеп был старик

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ "ХРАНИМОЕ В СЕРДЦЕ"

с кустистыми бровями и бородой в стиле австрийского императора Франца-Иосифа. Вечерами он будет сидеть перед своим домом, пить ликёр и рассказывать о важных похоронах: доктора Пинскера и Алтоха из Тарнополя, которые были похоронены в семейных склепах на старом кладбище, Менахема Маргалита и других. С гордостью он будет говорить, как он положил в гроб мадам Стерн, с которой сам царь Николай танцевал. Тогда она была красавицей, которая позднее превратилась в старуху. Особенно он был поражен похоронами Лилинблума. "Кто бы мог вообразить, что наш казначей будет иметь такие огромные похороны! 40 тысяч следовали за гробом. Только после его смерти я узнал, что он был известный автор. Он был актёром со злым взглядом. По правде, мы его не любили". Управляющим новой синагоги и главой Хевра Кадиша был Исаак Евгеньевич Койфман. Он был невысоким, толстым с белой клинышкой бородкой. Всегда хорошо одет. "Койфман Парочет" был известен: вышитый занавес, покрывающий гробы первого клас-

на лечение. "Тогда Койфман одел шамесов в чёрные пальто и чёрные шляпы. Сами хасиды очистили тело. Оно было погружено в Митвах (ритуальное очищение). Мы принесли особый гроб из цельного дерева с сеточным дном. Что же эти хасиды делают? Вместо того чтобы делать это на кладбище, они сняли часть сетки и положили на дно вместо неё сено. Теперь вы можете представить, что случилось потом. Посредине похорон умерший выпал из гроба. Поднялась большая паника. Сначала они думали, что раввин воскрес, но когда тело ударилось о пол, все были потрясены".

Огромная разница была в Одессе между богатыми и бедными, особенно после похорон. Погоня за почётом продолжалась за пределами жизни. Жена доктора, жившая напротив, влезла в долги, чтобы похоронить своего мужа "достойно", в цинковом гробу и с хором. Как это относится к тому, люди говорят, что он учился в молодости в университете? После всего, он был доктор! Мог ли он быть похоронен на Слободке-Романовке

туфли. Он не имел достаточно денег, чтобы похоронить мальчика на другом кладбище. Он просил письмо для Хевра Кадиша, чтобы принять меньшую сумму от него. Мой отец со слезами на глазах рассказал о раввине Гамлиеле, который попросил, чтобы его похоронили в льняной одежде, потому что он видел, что бедняки тратят слишком много денег, чтобы похоронить умерших в пышных одеждах. Я смотрел с трепетом на Витиною отца и не мог решить, плачет ли он о Вите или о его похоронах на Слободке.

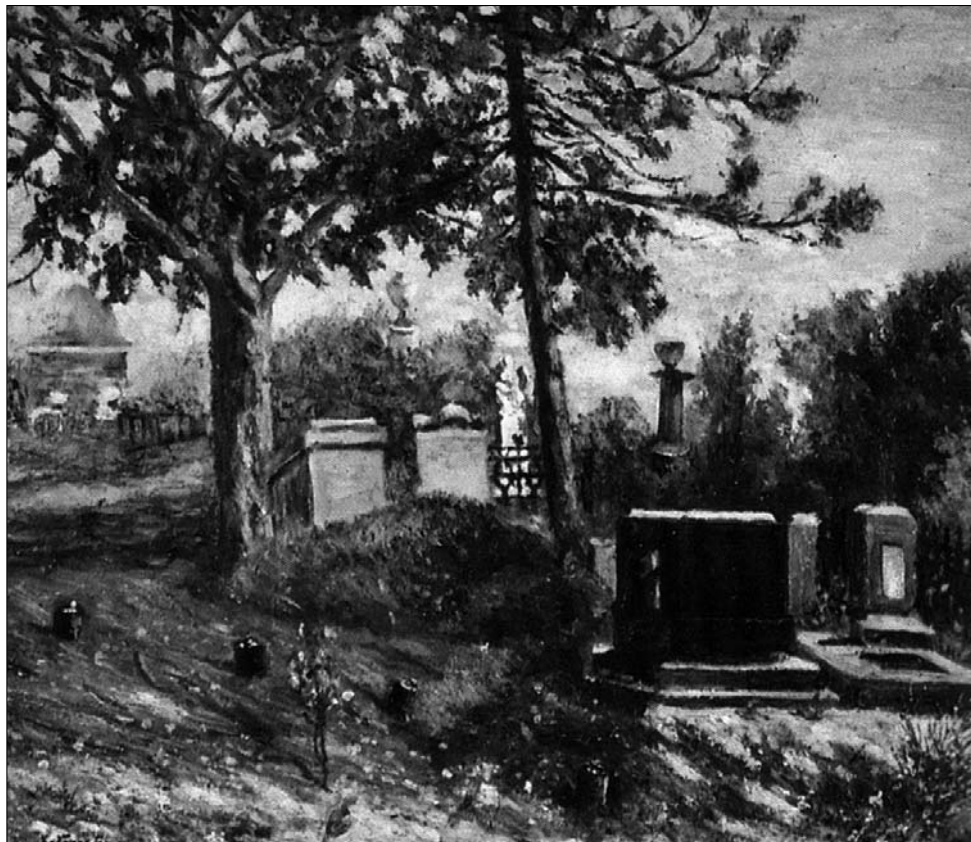
Одесские бедняки называли шамесов из Хевра Кадиша "молчесами". Я не знал происхождения этого слова, пока я не пришёл с писателем Ашером Брашом на похороны в Тель-Авиве. Когда подъехал автомобиль Хевра Кадиша, Браш сказал: "Наконец-то "молчесы" приехали". Когда я спросил его, называют ли этих людей так же и в Галиции, он сказал мне, что в его городе их называют так же, но он думает, что происхождение этого слова — "молодцы", люди чести в России.

В первые годы после революции тиф был причиной многочисленных смертей. Все похороны на Слободке-Романовке проходили через синагогу плотников, расположенную рядом с нашим домом. "Эл Меил Рахамим" (молитву за умерших) пел человек, которого называли Солдатиком. Пухлый парень, невысокий и косоглазый, он носил шляпу с широкими полями и выкрикивал. Отец сказал ему: "Почему ты кричишь так громко, когда говоришь "Эл Меил Рахамим"? "Что я, Пиня Миньковский? И я кричу, раввин, и повышаю свой голос так высоко до тех пор, когда рубль выпрыгнет из гроба". Преступники любили Солдатика. Однажды утром я встретился с раввином Миасваном в Привозной синагоге и обсуждал преподавание Гемары. Испуганный человек подбежал к нам и потребовал включить все лампы. Через час подошли похороны первого класса, которые сопровождалось двумя хорами: из Большой синагоги и из Нового базара синагоги. Это были похороны матери Мишки Япончика, важного человека в преступном мире Молдаванки. Как Мишка добыл в эти дни разрухи и опустошения предметы буржуазных похорон? Мишка всегда находил решения. Его требование было совершенно определённым: Солдатик должен петь на похоронах. Это был большой день для Солдатика. Он надел одежду кантора и митру, притворяясь важным кантором, вынул камертон из своего кармана, ударил по крышке гроба и начал петь и визжать, размахивая руками и командуя хорами: "Нежно, мягко, грустно, душевно". Старейшие из хористов делали серьёзные лица и передразнивали его, а молодые с трудом сдерживали смех. Мишка Япончик проехал по всем улицам Одессы. В первом экипаже сидели музыканты, в следующем ехал сам Мишка, развалившись внутри, в третьем — накрашенная женщина, в четвёртом — Мишкина шляпа, в пятом — его пальто, в шестом — его сапоги. С разинутыми ртами жители Молдаванки наблюдали эту процессию. Мишка был среднего роста, коренастый и тёмный. Клок волос падал на его лоб, типичное еврейское лицо. Он совершенно не выглядел, как япончик.

В последние два года городские власти менялись много раз. До того как большевики обосновались в Одессе, город находился под управлением немцев, затем французов, потом англичан и затем Петлюры (белых). Банды Тютюнника, Зелёного и Махно творили погромы в украинских городах. Белые "добровольцы" жестоко убивали коммунистов, в большинстве — евреев. Я помню, как еврейского мальчика тащили, всего израненного, через улицы Молдаванки. Он проклинал своих мучителей. Белые оставили наш город. На смену им (и до большевиков) пришёл Мишка Япончик и захватил власть. После того как его люди разделились с белыми, они взялись за тайную полицию. Они вытаскивали прятывшихся полицейских, клали их на телеги лицом вниз, как цыплят, отправляемых на бойню, везли их в морг Еврейской больницы и расстреливали их там.

В те дни, когда власти часто менялись, преступники помогали большевикам. Наступил 1920-й. Новая власть была установлена. Грабители и воры были казнены. По указанию Радека Мишка Япончик был застрелен.

Состоялись похороны бойцов, погибших в боях за Советскую власть. Сотни красных флагов, развевающихся на осеннем ветру, бесконечные букеты цветов и красные гробы. Огромная общая могила была выкопана на Куликовом поле. Одесские богачи были арестованы.



са. В одном из складов стоял специальный гроб из вырезанного дуба с цинковыми ручками и ножками, который Койфман сделал для себя, и они на самом деле смогли похоронить его в этом гробу, его похоронная процессия двигалась по Екатерининской улице и остановилась рядом с готическим зданием Шалашной синагоги, которое сгорело от бомб белых в конце лета 1919-го, около времени его смерти. Через пять месяцев город был захвачен Советами. Я помню рассказ Меира Пречепа о похоронах хасидского раввина из Жинкова, который приехал в Одессу

среди обычных людей? На третьем этаже нашего дома жил гражданский адвокат, ассимилированный еврей, у которого был мальчик с золотыми кудрями, спадающими на плечи, и изумительными глазами, как будто он вышел из книги "Сын короля и бедняк". Весь дом был полон его пением. Витя, было его имя, съезжал вниз по перилам и издавал звуки радости своим певучим голосом. Витя умер от аппендицита. Я всё ещё вижу его отца стоящим рано утром перед моим отцом. Он плакал. Он носил шотландские брюки, галстук-бабочку и остроносые лакированные

Александр БИРШТЕЙН В гостях у Лешего

...Одет леший как обычный человек. Часто он предстаёт в форме лесника или солдата. Обычно же на нём сибирка, армяк, серый шерстяной домотканый кафтан, кожаная или меховая одежда...

(Из Википедии.)

Лестно в гости к Лешему ходить? Еще как лестно. Интересно? Опять же — еще как! Недоразвитые скажут:

— Так он же умер!

Шиш вам! Есть он, никуда не делся. Присутствует... Да и Марья на месте. Марья — это она так себя называет. Даже книгу написала "Абрам да Марья". Абрам — это он, Леший, а еще Абрам Терц, таким именем он книги свои подписывал. Кстати, а почему именно Абрам Терц?

Марья Васильевна уверяет, что имя-то из одесской блатной песни "Абрашка Терц, карманщик всем известный". Синавские блатные песни любили и собирали. По этому поводу к ним любимый ученик Синавского Владимир Высоцкий часто наведывался. Пел блатняк, не хрипел. А потом уже свои песни писать стал. Это Марья Васильевна рассказывает. Или точнее — Марья Васильевна Синавская-Розанова. Хотел сказать, что она замечательная. Но убила бы. Ненавидит сюсюканье. Железная. Нет, стальная. Не согнешь. И таланта невиданного. Ясное дело — витебская! Да и не в этом даже дело. Просто Марья Васильевна талантлива во всем. Рассказывает:

— Свой первый гонорар я получила в эвакуации. Мама на заводе с утра до ночи. Решила ей кофточку сшить. Лет двенадцать мне было. Большая уже. Собрала лоскуты, сама скроила и сшила. Мама увидела и обомлела. Назавтра первым делом кофточку надела и на работу с ней. А там подруги обступили. Тоже такую красоту хотят. Сшила маминую подруге. А та заплатила! Несколько буханок хлеба на те деньги купить можно было!

Это потом уже ювелирка была — и дизайн, и изготовление. В Москве, стало быть.

— В самые тяжелые времена ювелирка эта спасала. Пока Синавский сидел, я стала знаменитым ювелиром. В те времена зарплата научного работника была 120 рублей, кольцо же моей работы стоило минимум 150. Дома шутила: "Я — Мастер, а Синавский — моя Маргарита".

Потому что заказчиков много было. Очередей! И попробуй нарушь!

Впрочем, исключения делались.

— Павлу Антокольскому перстень для любимого человека сделала! Для кого? А не скажу! А перстень знатный получился...

Вообще в доме много ее поделок. Украшения замечательные. А мне больше всего собака глянулась. Это когда к Марье Васильевне в мастерскую зашли. Но об этом чуть позже, ладно?

Мне ведь о хозяйке дома рассказывать и рассказывать.

Надо сказать, что я сперва ее побаивался. А как же! Лет пять назад, помнится, должна была она в гости к нам приехать. В Медон. "К нам", — я говорю. На самом деле — к Ваське и Ленке, у которых я гостил. Васька — это поэт и переводчик Василий Павлович Бетаки. Но он все равно — Васька. А его жена, математик и писатель Елена Кассель, — Ленка. И никак иначе. Васьки нет уже с нами. Спрятался, скрылся 23 марта этого года... Но он все равно есть.

И Леший есть. Они такие!

Так вот, вернусь. Перед приездом Марьи, как они ее называли, Васька с Ленкой пугать меня стали.

— Ты на Марью, чуть что, не обижайся. Ну, скажет что-то резкое. Такой человек. Не ты первый, не ты последний... И вообще: сейчас она вроде помятеж стала...

Но обошлось. То ли она меня приняла, то ли просто осторожен был, но всего один раз на минное поле чуть не ступил. Это когда за разговором помянул, что Сашу Даниэля знаю.

Оказалось, зря. Саша где-то сказал про "...процесс Даниэля — Синавского". Что в глазах Марьи Васильевны, видимо, было кошунством.

— Как процесс назывался? — а голос уже с металлом.

Но и я не лаком сыт.

— Процесс Синавского — Даниэля! — отрапортовал.

И все окончилось замечательно.

На прощанье Марья Васильевна пригласила меня в гости!

С тех пор в каждый свой приезд, а их семь уже было, хоть на вечер едем к ней.

В этот раз — впервые без Васьки...

От Медона, где живу, приезжая во Францию, до Фонтене-о-Роз близко. Минут пятнадцать ехать. Открываем калитку, сад, прудик метра полтора в диаметре... Лилии... Но

это видано-перевидано. Мне в другой сад хочется. В тот, о котором Ленка тысячу раз рассказывала. Было время, когда они с Васькой и Марья с Лешим виделись чуть не ежедневно. В "том" саду я прежде не был. А хочется! Это там, когда-то все расчистили, поставили длинный дубовый стол и чай — и не только чай! — гоняли за разговорами.

У них ведь разные периоды бывали... И дружбы, и, не скрывать это, недружбы, что ли. Эмиграция — вещь подлая: по разным лагерям развести может...

Сначала Васька с Синавскими познакомился. В одном поезде к Глебу Струве ехали. Подружились... Но Васька на "Свободе" работал. С Максимовым... А Синавские с ним в скорости горшки побили. Тем более, Хмельницкие об Андрее Донатовиче лгать гадости стали. А Максимов поверил... Надо сказать, когда Максимов узнал, что Хмельницкие провокаторы, извинился горячо и публично.

И правильно, и честно! Ибо Хмельницким только в "воронельей слободке" (термин мой!) и место.

А уже при Ленке Васька и Синавские опять подружились. Марья жесткая, конечно, а зла долго не держит. Встретила Ваську:

— Что не заходите?

Но об этом Ленка сама напишет. И напишет, конечно же, лучше меня. Не стану я ее перебивать.

В общем, стали они опять дружить. И в том саду собираться...

— Марья Васильевна, можно в тот сад? — спрашиваю.

— Можно... Только черешню не рвать. Она для Егора!

Егор — сын Марьи Васильевны и Андрея Донатовича. Кстати, известный французский писатель Егор Гран.

А сад зарос, зарос... И прекрасен! Да-да, прекрасен именно этой своей дикостью, неухоженностью, естественностью. Да, тут можно было сидеть и общаться. Душевно это, уверен, получалось. Кого только не видел этот сад!

Вот, например, Виктор Платонович Некрасов, Вика, как его тут зовут. Едва приехав во Францию, он тяжело очень заболел. Ну, просто помирать стал. И ничего не помогало. Тогда Леший сел ему некролог писать. Да такими словами! В общем, усевослилось небо, что такого великого человека к себе перетаскивает, отпустило Некрасова. Когда тот совсем оклемался, показал Синавский ему некролог этот. Так Платонич еще и огорчился, что нельзя такой лестный текст никому показывать. Некрасов умер через двенадцать лет... Тогда и опубликовали некролог Синавского.

Навещал учителя, бывая во Франции, и Владимир Высоцкий. Попеть, поговорить.

Еще Дима Крымов... Художник он. Как по мне, очень хороший. У Синавских в гостиной его коллаж висит. Очень даже славный. Да и скульптура-портрет А. Синавского в виде Лешего — его работа!

Нет, всех перечислять не стану. Были там люди незначимые, но друзья настоящие и верные. Были и знаменитости. Но не все временем испытание выдержали. Так что...

А теперь и стола-то того нет... Пуст сад.

А хозяйка сада на пороге стоит и на нас глядит. Улыбается...

"...Я часто берусь за письмо не потому, что имею намерение написать тебе что-то серьезное. А просто прикасаюсь к листку, который ты будешь держать..."

После сада заходим в ее мастерскую.

Марья Васильевна — ювелир знатный! Хотя сейчас она мало работает. Но... помните, я обещал про собаку? Сеттер. Из медного листа. Сантиметров сорок в длину. Поза новорожденная. Дичь учуял. До чего хорош! Но разве словами передашь?

Ну, раз в мастерской был... И в саду... Решаюсь. Прошу разрешения посетить кабинет Андрея Донатовича. И мы поднимаемся на второй этаж.

И... Он точно тут есть!

"...Я хожу по дому, как привидение. Но не то, которое здесь жило когда-то. Но то, какое еще придет..."

Компьютер... Первый "Макинтош", на котором он работал. Гляньте на его фотографию, приведенную тут. За этим самым "Макинтошем" и сидит.

"...Почему-то предполагается, что завязанное здесь — должно где-то там (в будущем или в вечности) распутаться и развязаться. Что последует нам компенсация за наши страдания, усилия, грехи, добродетели. Между тем, возможно, не нам должны уплатить, а мы — плата или возмездие кому-то за что-то. Глядя на мироздание из своего угла, мы принимаем себя за начало и мысленно подбираем себе подобающий конец. Но в мировом балансе мы не исходная точка, а крикая, прочерченная между какими-то неизве-

стными нам величинами, и потому недостойно требовать в применении к себе справедливости..."

Письменный стол писателя, заваленный книгами, брошюрами. Работает...

А это... Это то, в чем он ходил в лагере. Ватник-бушлат, шапка-пидорка... Прямо в этом и освободился.

Марья Васильевна тут, и она рассказывает, что добилась его освобождения на полтора года раньше срока, назначенного судом. И приехала за ним на зону. А начальство так испугалось — мало ли! — что выпустило Синавского без положенного шмона. Так что удалось ему вывезти рукописи и книги...

"...Во сне я пел. Утром на разводе — останьтесь.

— Полчаса на сборы.

Клетка. Меня разглядывают. Четыре чемодана. Тройник. Старший конвой:

— Куда тебя везут?

— Не знаю.

Везли, оказалось, — на волю.

Самое интересное, что я испытал в эти первые дни и недели моего освобождения, это чувство умершего, явившегося на жизненный пир..."

Четыре чемодана... Не много ли для заключенного? Но там были книги!

Книги... Как много они для него значили!

В доме Лешего книг множество. И в гостиной, и особенно — в кабинете. Стеллажи, стеллажи... Чуковский, Цветаева, Бабель, Мережковский... Потрепанные томики. Их много раз брали в руки. В них вглядывались.

"...Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь, и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками стекол, занавесок, обоев и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей..."

Я трогаю руками корешки. Живые книги... Настоящие. Их читали, в них находили или не находили ответы... Их любили, а иногда ненавидели. С ними жили!

"...Книги почему-то я всегда воспринимаю в единственном числе. Говорю: "Сочинения Гоголя" и мысленно вижу те самые сочинения, в том же переплете и составе томов, что стоят у меня на полке. Невозможно представить, что точно таких "сочинений Гоголя" тысячи, миллионы, и у каждого точно такое же. Даже допуская умом какие-то (редкие) дубликаты, обнаруживаешь — не то, пятнышко другое, иная сохранность, ворс, запах, все по-другому. Поэтому не книгопечатание, но скорее — создание книги, не печать, но — музей, не размножение, но — появление на свет. А то, что их много, — мне нет никакого дела. У меня-то — одна такая. И у каждого есть только одна книга..."

Марья Васильевна делала книги. Текст набирала, брошюровала, переплетала... У меня есть две такие! И, конечно же, сама свой журнал делала. В подвале у нее до сих пор мини-типография имеется. Вот умница!

Подумал, что про процесс Синавского — Даниэля, знают. Те, кто литературой, историей интересуется, точно. И книги А.Д. Синавского читали. По крайности, то, что в двухтомник перестроенный вошло. Знают, что Синавские вскоре после освобождения Лешего из страны уехали. А дальше? Что делали? Что он писал? Отвлекусь от кабинета писателя и расскажу.

В официальной биографии писателя сказано, что вскоре после освобождения в 1973 году он поехал по приглашению Сорбонны на работу во Францию. С 1973 года — профессор русской литературы в Сорбонне...

Ага! Тот случай! Много вы знаете фактов, чтобы человек, только-только освободившийся из лагеря (откинувшийся), был легко и не принужденно выпущен за границу? Уверен, что ни одного! Как же так? Легенда ходит и никуда не девается вот уже годы и годы. А гласит она, что пошла Марья — а она может! — к большому начальству из КГБ. И сказала:

— Мол, так и так, неуважаемые товарищи.

Легит в заграничном сейфе у меня преогромный компромат и на партию, и на правительство. Выпустите — дальше лежать будет. Не выпустите — вы меня знаете!

Они ее знали. Выпустили...

Так ли это? Спрашивал... А она улыбается хитро. И не говорит. Вернее, говорит, но другое:

— Нужно было довести советскую власть до того, чтобы она сама предложила нам уехать. Значит, разговаривать с ними можно было с позиции силы. Сейчас я пишу книгу, а у меня получается учебник выживания: сумеет сделать так, чтобы поставить противника в положение, когда он от вас зависит, а не вы от него. Чтобы спокойно сказать: "Уеду только в одном случае — если увезу с собой все. Я вам половой тряпки не оставлю". Эта фраза действительно была произнесена...

Но я точно знаю, что она и не такое может.

Например, после операции, передвигаясь на ходунках, сама полетела в Москву на юбилей М.С. Горбачева. Покрасила свой ходунки яркой краской — и на юбилей. Попробуй останови!

Или вот еще. Когда Синавского хоронили, надела ему на глаз пиратскую повязку. За чем? Почему? Захотела, и всё.

— Я так решила! — говорит.

Литератор Петр Вайль, в феврале 97-го года успевший попрощаться с Андреем Донатовичем, вспоминал:

— В Париж я прилетел за день до похорон, ближе к вечеру позвонил Марье Васильевне. "Если приедете прямо сейчас, гроб еще открыт. Есть шанс увидеть Синавского, — сообщила она. — Да к тому же в виде пирата". Много лет зная Марью Васильевну, я сказал:

— Да ну вас!

Она вдруг возбудилась: "Почему это "да ну вас"? Когда умер Жерар Филип, его хоронили не в партикулярном платье, а в костюме Сиды. Почему Синавский, который всю жизнь был флибустьером, не может лежать в гробу в виде пирата?" В его доме было все так же, Марья Васильевна повела на второй этаж, где стоял на подставках гроб. В гробу лежал Андрей Донатович с пиратской повязкой на глазу.

В принципе, для Андрея Донатовича отъезд был выходом. Он смог писать, печататься, издаваться, в общем, делать то, для чего был рожден. Смотрите: последняя публикация А. Синавского на родине — предисловие к тому стихотворений Б.Л. Пастернака в Большой серии библиотеки поэта, подписанному в печать 25 мая 1965 года. А 4 сентября того же года он был арестован.

А вот для Марьи Васильевны отъезд был трагедией. Ее вырывали из привычного круга, где у нее были положение и репутация. Ее искусство ювелира давало ей постоянные и большие заработки... И всего этого она лишилась, не моргнув глазом, как в свое время, не моргнув глазом, приняла то, что Синавский печатается за рубежом и, значит, непременно будет посажен.

Уехали... Покинули зону.

"...Всё-таки самое главное в русском человеке — что нечего терять. Отсюда и бескорыстие русской интеллигенции (окромая книжной полки). И прямота народа: спьяна, за Россию, грудь настезь! стреляйте, гады! Не гостеприимство — отчаяние. Готовность — последним куском, потому что — последний, и нет ничего больше, на пределе, на грани. И легкость в мыслях, в суждениях. Дым коромыслом. Ничего не накопили, ничему не научились. Кто смеет осудить? Когда осужденные..."

А что дальше?

А дальше — статья "Литературный процесс в России" (1973). А в статье — раздел, посвященный антисемитизму в России. Очень А.И. Солженицын возненавидел А.Д. Синавского за этот раздел!

"...Это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит — допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет, к чему бы русскому прислониться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном море. Но всё бегут, бегут. Россия — Мать, Россия — Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!..."

Дальше — книга "Прогулки с Пушкиным", почти полностью написанная на зоне и передаваемая по частям в письмах жене.

Дальше журнал "другого мнения" "Синтаксис", который Синавский издавал вместе с женой. У меня есть номера этого журнала. Васька подарил. Очень хороший журнал! Очень!

Кстати, и издавать-то его решили "с подачи" А.И. Солженицына, который всячески перекрывал кислород публикациям А.Д. Синавского.

А еще были написаны романы: "Крошка Цорес" (1980), "Спокойной ночи" (1983), "Кошкин дом. Роман дальнего следования" (1998), вышедший уже после смерти А.Д. Синавского.

Уходим. И только сейчас замечаю, что окно в комнате приоткрыто. И верно. Воздух нынче свеж и чист. А на свежем воздухе приятно работать. Стало быть, Леший недалеко. Вернется, сядет за стол...

Спускаемся. Проходим в гостиную. Портрет хозяйки...

"...Не грусти, милая. Волей судьбы мы перенесены в тот светло-зеленый, романтический период юности, когда объясняются в чувствах пылкими письмами, клянутся в дружбе навеки, делятся планами жизни и вздыхают над фотографиями. У нас не было этой увертюры, и вот она сыграна где-то в середине действия, немного неважно, на старости лет — для восполнения пропуска. Она позволяет все начать сначала и с толком, с расстановкой пройти эти первые шаги, которые обычно пробегают, не оглядываясь, не думая о прошлом. А у нас есть на что оглянуться и на кого посмотреть, прибавив к прошлому трепетную надежду и робость бесстыдно, навзрыд произнесенного первого слова:

— Возлюбленная!..."

Андрей АЛЕКСАНДРОВИЧ-ДОЧЕВСКИЙ

Четыре знакомства. Художник Борис Дочевский

Знакомство первое

В детстве над кроватью моей бабушки висел под стеклом рисунок, сделанный тушью. Бумага давно пожелтела, но выразительность фигуры приковывала внимание. С образно изогнувшийся человек с ехидной улыбкой небрежно опирался на шпагу. Единственная композиционная деталь, которая сдерживала общее вихляние этого персонажа, — вертикальный отвес коротенького плаща.

— Кто это, кто?! — спрашивал я бабушку, показывая на загадочный рисунок.

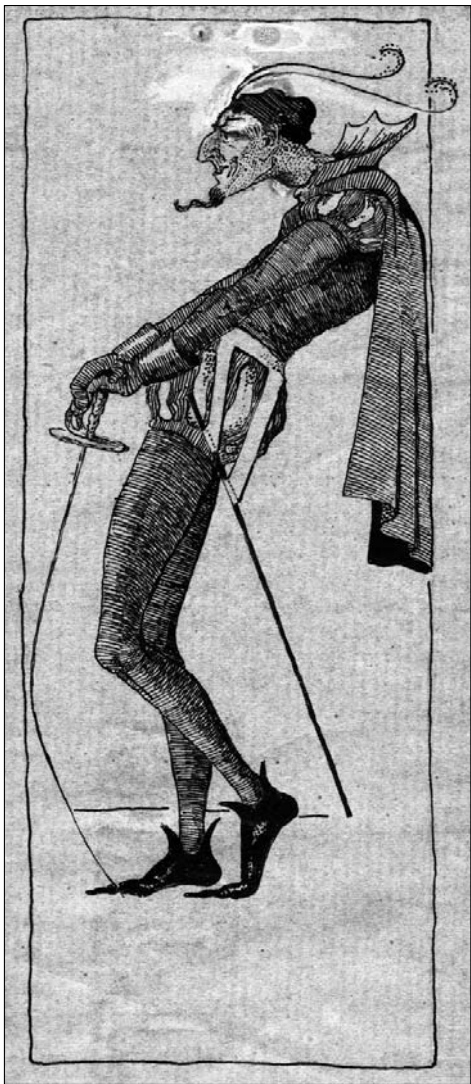
— Где? А, это! Ме-фи-стоп-фель! — таинственно подмигивая, улыбалась бабушка.

— А кто он такой?

— Хм?! Персонаж оперы "Фауст". Ну, в общем, повелитель Тьмы.

Мне стало страшно. Но полный ужас наступил позже.

Однажды к бабушке и ее двум сестрам приехал приятель из Калуги — Гейне Генрих Оттович, человек, обладавший громоподобным басом. Младшая сестра бабушки, Мария Иосифовна Агафонова, была пианисткой, ученицей Генриха Густавовича Нейгауза. Их дружба с Гейне была старинной, а знакомство необычным. Но об этом несколько позже. В тот вечер был организован домашний концерт Гейне. Когда было объявлено исполнение арии Мефистофеля из оперы Гуно "Фауст", у меня зашевелились волосы, а тело покрылось гусиной кожей. С первых же аккордов и громогласного воззвания о том, что "люди гибнут за металл" и "сатана там правит бал", я понял, что этого кошмара не переживу.



Под роялем, на котором аккомпанировала Мария Иосифовна, стояла моя заветная коробка с игрушками, и я ползком устремился в нее, как в убежище. Игрушки были пыльными, коробка из-под телевизора "Знамя" — темной и душной, с неприятным картонным запахом, а хохот Мефистофеля все нарастал и нарастал, усиливаемый декой рояля. Я не выдержал и разревелся не на шутку. Пришлось родителям меня долго успокаивать.

Над той самой бабушкиной кроватью висело и множество старинных фотографий. Я любил их рассматривать, не вдаваясь в подробности, кто на них запечатлен: мне нравились костюмы, шляпы и прически этих людей. Таких в жизни не встретишь. Среди фотогра-

фий был старинный рисунок, который неким образом перекликался с рисунком Мефистофеля. Тогда я не мог себе объяснить, что связаны они были одним стилем или, вернее, почерком, но внутренне это почувствовал.

— А это кто? — спросил я у бабушки. На рисунке была изображена молодая дама лет 25 ти за вышиванием.

— Это я, — сказала бабушка.

— ?!

— Ну, я ведь тоже была когда-то молодая. Видишь, тут написано: "Киев, 1917 г." и подпись художника: "Б. Александрович-Дочевский". Это твой дедушка. Кстати, и Мефистофеля тоже он рисовал.

Потом бабушка извлекла откуда-то старинную папку, в которой были аккуратно сложены рисунки, акварели и гуаши. И мы стали их рассматривать: иллюстрации к русским сказкам, "Скупому рыцарю" и "Бесам" Пушкина, сделанные в 1918 г.; наброски Демона к поэме Лермонтова; графический лист "Счастливый принц"; рисунок тушью заснеженной усадьбы; фавн, отдыхающий на развесистом дереве; акварельный портрет 1916 г., где изображен желтый человек в цилиндре с монограммой, и подпись: "Коммерсант"; гуашевый этюд виллы у моря 1920 г.; двое крестьян, подрезающие виноградную лозу; карандашный рисунок "Пьеро" и портрет старика 1920 г.; несколько этюдов маслом на картоне: "Паводок", "Лесной пейзаж", "Цветущее дерево"; акварельный эскиз театральной декорации и театральных костюмов. Улыбку вызвал автошарж художника, где он изобразил себя в роли маляра, красящего стены домов. Шарж был подписан сверху: "Изъ пророчество моих друзей: Благодаря Вашему таланту Вы вознесетесь на головокружительную высоту!", и внизу: "Вознесся!!!"

— Твой дедушка был художником, театральным художником, — и бабушка указала на одну из фотографий. — Вот он, Борис Ильич!

— А где он сейчас?

— Он умер давно. Говорят, красками отравился.

Я вглядывался в фотопортрет. Художник, а в военной форме? И форма какая-то необычная, и вместо медалей и звезд — крест?!



Знакомство второе

Был май 1968 г. Нас, учеников третьего "А" школы № 38, принимали в пионеры у памятника Славы. Когда мне повязали красный галстук, я был очень горд. Бегу, подпрыгивая, к бабушке. И прямо с порога:

— Меня приняли в пионеры!!!

— Мой руки и садись обедать. Обед прошит уже.

И никакой реакции. Да что такое?!

— Бабушка! Меня в пионеры приняли!

— Давай обедать будем.

Опять никакой реакции.

— Скажи, а правда, что Ленин — самый мудрый и добрый человек на Земле?

В ответ — молчание. И после паузы — как бы себе:

— Я сомневался.

Бабушка, Нина Иосифовна Александрович-Дочевская, впервые была арестована в 1923 г., но вскоре отпущена. В 1937-м ее арестовали вторично. Сначала — лагерь, потом ссылка в Семиярск, в общей сложности 8 лет. В Семиярске, на окраине города, и произошло необычное знакомство с Ген-

рихом Оттовичем Гейне: шел по улице человек и пел в пространство оперный классический репертуар.

Обвинялась бабушка вместе со своей младшей сестрой в контрреволюционном заговоре. Поводом стало то, что замужем бабушка была за белым офицером, да еще и эмигрировавшим за границу.



Окончив Смольный институт в Петербурге, Нина Иосифовна, урожденная Ульянская, дочь генерала медицинской службы Иосифа Лаврентьевича Ульянского, в 1914 г. вышла замуж за Бориса Ильича Александровича-Дочевского, студента юридического факультета Петербургского университета. Вот что удалось узнать об отце Бориса Ильича из биографического словаря "Профессора Томского университета": "Александрович-Дочевский (Дочевский) Илья Иванович (род. 23 авг. 1865 г., Новгород-Северский Черниговской губернии) — ординарный профессор по кафедре частной патологии и терапии и терапевтической клиники. Из дворян. Сын ветеринарного врача. В 1890 г. закончил мед. ф т Харьковского университета. С 1892 г. — ординатор факультетской терапевтической клиники, с 1909 — профессор по кафедре частной патологии и терапии, автор ряда научных работ, статский советник, кавалер орденов Св. Владимира, Св. Анны и Св. Станислава".

Отец Ильи Ивановича и дед Бориса Ильича, Иван Федорович Александрович, был не только ветеринарным врачом. Он был меценатом города Глухов, музыкантом и страстным собирателем музыкальных инструментов. До наших дней сохранилась в Глухове усадьба Александровичей. Вот что сообщает о ней в своей книге Виктор Вечерский: "Главное здание построено в середине XIX в. владельцами усадьбы — местными дворянами Александровичами, происходившими из старинного казако-старшинского рода. К этому роду принадлежали Тихон Александрович — префект и профессор пиитики и риторики Киевской академии в первой половине XVIII в., а также Митрофан Александрович (Александрович) (1837 — 1881) — писатель, историк и земский деятель на Черниговщине. В конце XIX — начале XX в. усадьбой владел пианист Иван Федорович Александрович, деятельность которого оказала влияние на культурную жизнь Глухова того времени". Сейчас, правда, усадьба находится в плачевном состоянии. Ворота разрушены, дом превращен в коммуналку, обстроенную бесчисленными верандачками. Через некогда большой фруктовый сад проложена дорога, а на месте фонтана с бронзовой фигуркой Фортуны растут помидоры".

Александровичи представляли в Украине большой дворянский клан. Дома имели в Кивее, дома и земли — в Антоновке Черниговской губернии, Студенке и Глухове, Полтаве,

Пассиках и в с. Великая Круча на реке Удай, где жил пирятинский уездный предводитель дворянства Порфирий Иванович Александрович, дядя знаменитой кавалиерист-девицы, героя Отечественной войны 1812 г. Надежды Андреевны Дуровой. Из ее воспоминаний: "Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии". И далее: "...отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Деда не было уже на свете. Всю нашу семью составляли бабка моя осмидесятилетняя, умная и благочестивая женщина; она была некогда красавица и известна по необычайной кротости нрава; сын ее, а мой дядя, средних лет человек, пригожий, добрый, чувствительный и до несносности капризный, был женат на девице редкой красоты из фамилии Лизогубов, живущих в Чернигове".

В Малороссийском гербовнике В.К. Лукомского и В.Л. Модзалевского сообщается: "Александровичи — потомство Александра, бурмистра Киевского магистрата (XVII в.)".

Глуховский помещик Иван Федорович Александрович был женат на Елене Николаевне Тризне, ведущей свой род от Фомы Тризны, Лубенского полкового писаря (с 1672 г.), брата архимандрита Киево-Печерского монастыря Иосифа Тризны, преемника Петра Могилы. Один из их сыновей, дядя Бориса Дочевского, Сергей Иванович Александрович-Дочевский, ученик, а впоследствии большой друг П.И. Чайковского, был преподавателем Харьковского музыкального училища.

Дополнение "Дочевские" фамилия братьев получила потому, что их отец, Иван Федорович, купил для детей земли на хуторе Дочь.

Борис Дочевский окончил юридический факультет Петербургского университета, но юристом не стал. Стал художником. Занимался графикой, книжной иллюстрацией, живописью, чеканкой, или, как тогда говорили, "давлением по металлу".



В 1917 г. Борис Дочевский — офицер белой армии под командованием генерала Деникина. В 1921 г. из Балаклавской бухты бежит на пароходе в Константинополь. Из Константинополя попадает в Югославию, в Белград.

И вскоре, в 1924 — 1927 гг., семья стала получать первые письма. В письмах — маленькие зарисовки размером с конверт, среди которых были эскизы театральных декораций. Сегодня сохранился лишь один, без пояснения. Бабушке было известно, что Борис Дочевский работал в Белграде сценаристом. В 1934 г., в возрасте 40 лет, он внезапно умер, якобы отравившись вошедшими тогда в моду нитрокрасками.

Знакомство третье

Случилось так — а так должно было случиться, что в начале этого года я познакомился с господином Гораном Алексичем, послом Сербии в Украине. Я проникся доверием к этому обходительному и доброжелательному человеку и рассказал ему все, что знал о своем деде. А вдруг какие-нибудь сведения сохранились в Сербии? Сербь одни из первых протянули руку помощи эмигрантам из Российской империи. Выслушав меня, господин Алексич связался с Нови-Садом, где проживает архивариус русской театральной эмиграции Алексей Борисович Арсеньев. И через некоторое время я получил ответ:

"Актёр, режиссер и декоратор Б.И. Дочевский в Королевстве сербов, хорватов и сло-



Сергей Иванович Александрович-Дочевский, преподаватель Харьковского музыкального училища, за столом, слева от П.И.Чайковского

венцев — Югославии. Справка Алексея Борисовича Арсеньева (Нови-Сад) от 6 апреля 2009 г.

Дочевский (и его жена?) принимал участие в театральных постановках русских артистов в Белграде 1920-х годов. До середины 1920-х еще не было серьезных постановок и более устойчивых театральных трупп. По ресторанам и залам ставились скетчи, одноактные пьесы вперемежку с музыкальными номерами <...>

В книге Виктора Ивановича Косика "Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в Белграде в 1920 — 1950-е годы. Часть 1" (Институт славяноведения

РАН. Москва. 2007) <...> упоминается имя Дачевского, Дочевского, Дячевского Б.И. (в газетах часто встречаем ошибочное указание фамилий!).

Стр. 122/123:

На месте пропавшей "Ягодки" появилась в конце 1924 г. в "Самарканде" более удачная труппа "Фокс", открывавшая сезон 21 декабря <...>. Успехом, в частности, пользовалась и игра Сазоновой и Ольшевского в скетче Аверченко "Милая головка", Е. Евгеньева и Е. Романова в комедии "Без суфлера". Декорации делали Б.И. Дачевский (Дочевский, Дячевский) и Н. Мамонтов, потом к ним присоединился и А.В. Топорнин <...> ("Новое время". Белград, 1924, 23 декабря, № 1098; 26 декабря, № 1101).

Стр. 124:

Наряду с "Фоксом" в 1925 г. в "Самарканде" прошли спектакли "Маленького театра", представлявшего молодые артистические силы русского Белграда. Комедии, скетчи, пародии, инсценировки, лубки, оперетты — вот программа выступлений "молодых сил" со "старым набором" по субботам и воскресеньям и в праздничные дни. <...>

Режиссер В.В. Щучкин, декорации Б.И. Дачевского и Н. Мамонтова. ("Новое время" 1925, 30 января, № 1125.)

Стр. 127/128:

9 июня 1927 г. в кефанах "Славия" открыла сезон новая артистическая труппа "Жар-птица". Режиссером и распорядителем был преданный миру театра В.И. Щучкин. В программе миниатюры и сольные выступления. <...> Декорации Голдшмита и Дачевского, Антипова. Реквизит Мамонтова. ("Новое время", 1928, 28 октября, № 2247.)

Также у Арсеньева нашлась копия программки любопытного представления — бала-маскарада под названием "Ночь под Рождество в Диканьке". Исполнители — члены Белградского русского художественного драматического общества при участии украинского общества "Просвіта". Спектакль состоялся в субботу, 19 января 1929 г. Гоголя играл господин Дочевский, а жену кума Пана-

са — госпожа Дочевская. (В других источниках Дочевская упоминается под инициалами Н.С.) 20 ноября 1929 г. в сербском театральном зале "Манеж" Русское драматическое общество давало пьесу А.К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного" в постановке А.Ф. Черепова. Одним из актеров был Б.И. Дочевский.

Арсеньев предполагает, что Дочевский принимал участие в спектаклях, которые изредка ставило украинское общество "Просвіта" в Белграде. В русских белградских газетах 1920 — 1930-х гг. время от времени встречаются заметки о мероприятиях "Просвіти". Она неоднократно ставила в Белграде оперу "Запорожец за Дунаем"; был и украинский хор.

Арсеньеву кажется, что Дочевский из Белграда уехал на жительство в город Суботица (у границы с Венгрией) и там состоял в драматическом кружке "Русского клуба". "Не могу быть уверенным, эту фамилию, мне кажется, упоминали русские старожилы Суботицы. В наши дни там не осталось русских, которые могли бы подтвердить это.

Высылаю неопубликованную свою статью о белградских театральных труппах. Над этой темой я работаю и готовлю большую работу.

Если что новое обнаружу о Дочевских — сообщу.

Aleksej Arsenjev."

Знакомство четвертое

Хутор Малая Дочь, расположенный вдали от Московской трассы (в 13 км от Батурина) — забытая Богом и людьми точка на карте. Мы с сыном отправились туда с зыбкой надеждой разузнать что-нибудь о Дочевских.

Удивительно красивое место на берегу реки Дочь Гала. Вокруг невысокого зеленого холма, окаймленного с одной стороны плакучими ивами, примостились около двадцати крестьянских дворов. На другом берегу — сосновый лес.

Внизу у берега замечаем одинокую фигурку рыбака. Познакомились. Улыбчивый

старичок, Михайло Романович, родился и прожил на хуторе всю жизнь. Его тесть, доживший до 97 лет, в детстве крещен паном Хомским, управляющим усадьбой Александровичей-Дочевских. Был тесть здорового рассудка и все подробности о той жизни Михайлу Романовичу рассказал, о чем он нам и поведал:

"А історія була така: як ви кажете, Александровичі ті, вони, здається, з Глухова були, батько їхній там відомий якийсь був. Тут у Дочах два брати були — один музикант, а другий лікар. Але вони тут не жили, а хазяйнував тут, мабуть, їхній управляючий, пан Хомський. А чого не жили? Бо казали, що лікаря цар на Сибір заслав (это в Томский университет профессором! — А. А.-Д.), а музикант пішов по містах концертіровать, да так і зник (в Харьковском музыкальном училище, — А. А. Д.). Перед самою революцією Хомський теж кудись зник, кажуть, за кордон поїхав чи теж у Сибір до того лікаря. Будинок стояв зовсім безхозний. У 1926 році банди налетіли; тьма-тьмуща їх по лісах тут було. Меблі розтягали, а стіни зруйнували. Золото у стінах шукали, та й нічого не знайшли. Довго будинок стояв напівзруйнований. Почали односельці у 60-ті роки ті стіни довбати, бо цегла там дуже якісна була. Довго довбали, бо збудовано було на совість. З тої цегли коровник побудували. А потім голова колгоспу наказав підвали засипати, сад яблуневий повирубати і все екскаватором зарівняти. Хотів землю ту на ділянки поміж односельцями розділити, але чомусь з того нічого не вийшло. А ходімо, хлопці, — внезапно воодушевився Михайло Романович, — я вам те місце покажу, бо через деякий час земля просіла і по неглибокій траншейці, де трава не росте, видно слід фундаменту".

По пути Михайло Романович очень вразумительно описывал, как выглядела дорога в имение, насыпанная через болото, где был въезд, куда простирался сад. На зеленом холме, куда мы поднимались, паслись дивной красоты коричневые кони. На самой верхушке холма мы и увидели след от когда-то стоявшего дома. Фундамент там, в земле, а след остался!



Усадьба в Дочах



Б.И. Дочевский, автошарж



Б.И. Дочевский, 1926 г., Белград, Королевство Сербов и хорватов



Эскиз декорации

Александр ХИНТ

Определение моря

Время в Венеции не останавливается, оно течёт в три раза медленней. И тебя трижды за день выносит водой непонятного направления и происхождения в сторону Риальто или Академии.

И люди здесь по преимуществу приезжие — зато сам ты, конечно же, местный. Причём практически сразу.

И ходят здесь кое-где гуськом, в затылок: попадают улицы шириной в метр, а 50 тысяч гостей ежедневно куда девать?

И ночи Венеции неимоверны, почти полное отсутствие освещения обязывает.

И кошек здесь нет, вернее, не видно. В городе льва, здесь не видно кошек. Вообще.

"В школе нам не говорили: Украина, Эстония, Чечня или Грузия. На уроках нам давали одну большую местность, очень большую. Совет Раша". Она изобразила размер, до которого простиралась щедрость географа, и сделала это с несвойственным коренным жителям темпераментом.

"А географ-то был прав", — вслух я это не произнёс.

Внутри венецианской лавки, в стороне от туристического хаоса, рассказ продавщицы об особенностях национальных изделий резонировал почти в контральто.

— На этой полке суррогат, не надо смотреть. Я не советую. Вот здесь — лук эт зис — авторские вещи, нет двух одинаковых. К сожалению, второе такое дать не могу, говорю, уникальные...

Мы что-то выбирали. Продавщица сказала: "Не увлекайтесь, без денег останетесь", — она была тонким психологом.

— Уэа а ю фром?
— Из Одессы. Блэк си, Одесса.
— О, Блэк си, — у неё это получилось тягуче, как что-то почти вспоминаемое, но не до конца. — Значит, вы тоже знаете море.

Море. Основная форма существования материи, местное поле, метро, трасса здоровья. Море для Венеции — синоним жизни, хотя на латыни смысл слова противоположный — в этом анекдоте вся венецианская склонность к метаморфозам, тяга к маске.

Море. Жизнь. Смерть. Маска.

На острове Торчелло мы видели, как море превратило когда-то жизнь в смерть. Там же наткнулись на маску доктора, прекрасный клюв цвета слоновой кости, лоснящийся, из хорошего папье-маше.

— Есть три типа изделий, — торчелловская продавщица оглаживала носовую часть доктора. — До десяти евро — пластик. Дешёвый Китай.
— В Венеции маски из Китая?
— А откуда же? — она улыбалась. — От десяти евро те, что получше, качественный Китай. Ну, а такие, — доктор медленно развинул противочумный клюв в мою сторону, — делают только здесь. Вручную, никакой штамповки.

...Да, мы знаем море, — ответил я, — но оно у нас на расстоянии. Есть дистанция.

Продавщица ещё говорила вдогонку, нужно было торопиться: Венеция подвижна и уходит из ладони. Её перманентное исчезновение не является необратимым, стоит лишь попасть в ритм, соединяющий шаркающую подошву с колебаниями вечернего прилива, облачными метками в длинных оконных проёмах, уравновесить взглядом зависание чайки и крыло случайного мостика.

Потом был ливень, и к полуночи уровень поднялся на метр. На Сан-Марко появились мостки для гуляющих. У Сан-Заккариа gondolu вынесло на пристань, её выцеливали два азиата с фотооптикой, а над всем этим — азиатами, гондолой и нами — нависал отель Danieli, в котором 180 лет назад Жорж Санд и де Мюссе доводили друг друга до безумия...

Ванперетто номер два отползал от щеки Ферровиа, встречный катер остановился, уступая дорогу. В послеобеденный час салон и палуба плотно упакованы, народы мира близки, как никогда: вяло переговариваются немцы, датчане в шортах, пожилые американцы стойко переносят тяготы интернационализма. Китаец держит айпад, как пропуск в рай. Больше всего — русских.

На остановке расслабленный матрос объявил: "Сегуаимо а Риальто, синьори. Соло а Риальто". Трамвай дальше не идёт. До моста Риальто ждать не стоит, там сейчас Вавилон (а когда на Риальто не Вавилон?), есть повод выйти раньше и нырнуть в ландшафт Лобачевского.

Что значит день в Венеции? Неделя в любом другом месте. Что такое "километр пешком"? Искушение, сладкая пытка. Приезжий держит карту, как отчужден, которому по силам изгонять топографический кренизм, но карта работает как плацебо (за угол, мостик, поворот направо, тупик, в эту сторону кампо, там переулоч, щель между домами, о, поперечный мост, говорил же — влево, это и есть влево, люди идут, идём тоже туда). В пасмурный день извилины города подобны химерам Соляриса. Венеция, где твоя Ариадна?

Нет часов и минут в привычном понимании, есть события. Нет маршрутов, есть направления развития событий.

У большой воды обнаруживаешь себя на ступенях большой церкви. Я знаю эту церковь. Ещё я знаю: там, внутри, Тинторетто.

Там, внутри, была касса. В глубине, как на фантастической иконе, отсвечивал образ в очках. "Светлый лик бухгалтера твоего". Кассирша улыбалась. И было сказано ей: "Итс тру зет хиа зеа из Тинторетос уок?" И отвечала она: "Си".

Билет за 3 евро для входа в церковь — Господи, слышишь это? — позволяет наполнить глаза полумраком. Внутри церковь гораздо скромнее бесплатных аналогов, в этом чувствуется глубокий смысл. У алтаря находится то, что искал. Хочется помолчать.

— Существует три типа Тинторетто, — вкрадчивый внутренний голос. — Во-первых, есть дешёвый китайский Тинторетто. Далее, есть Тинторетто получше, но не за 3 евро. И третий, для избранных — вручную, никакой штамповки.

На стене висела табличка "LAVORI DI RESTAURO", судя по всему, она и была работой мастера. Испытав катарсис, на выходе у окошка "грации". Очень понравилось. Икона улыбается отражённым светом, очки лежат рядом.

Церкви Венеции, о, церкви Венеции. В небольшом по размеру городе их более сотни. Задолго до первых музеев они приняли великих мастеров и их творения, теперь это хранилища концентрированной красоты, порталы, упоительные и небезопасные. Город распят на веренице соборов, как на гвоздях, извлеки их — безжизненное тело рухнет в море. Фасады Салюте и Сан-Моизе. Алтарь Маджоре. Живопись дель Орто.

Посещение деи Фрари связано с почти осязаемой плотностью чуда. Мавзолей Кановы завораживает, фотографии не передают объёмную динамику группы. Алтарная "Ассунта": попытка увести взгляд провоцирует приступ тоски. Смотри на меня. Что понимал Тициан, сотворяя волшебную ловушку, гипноз неживой материи? Можно говорить о композиции, распределении света, тайна не есть сумма знаний. Смотри на меня.

Венеция подвержена капризу, это рефлекс женщины, знающей себе цену. Изменить схему движения ванперетто, запретить фотосъёмку, закрыть собор перед носом посетителей — ради бога, у вас такие

простые задачи. Париж и Рим не могут позволить себе платные церкви, Венеция позволяет.

Ты стоишь перед ней, как малыш. Пассы руками, факир извлекает львёнка, нет, цыплёнка, изящно превращает его в яйцо, сгусток света; оно, пульсируя и перемещаясь, осыпается, осколки трансформируются в губы, те лопаются с разноцветным "грацией, синьоре". Занавес, конфетти. Фокусник отворачивается, грим потрескался, бровь потекла. А ты стоишь с отведенными назад руками, с распахнутыми глазами. И хочешь ещё.

Пасмурные шорохи застят тебя в состоянии взвеси, когда сон ещё на ресницах. Ночью луна выплещивалась на тротуары, но сейчас сухо, и мысль о резиновых сапогах умирает в эскизе. Утро Венеции придумано для спонтанной акустики, для азиатских девушек, отпирющих крошечное кафе, и мусорщиков в костюмах рикши: их ящики да чемоданы туристов — весь колёсный транспорт, уцелевший в этих условиях.

Рассвет у моста делле Гулье инспектируют чайки, они приходят от набережной и оповещают: "Здесь рыба". Венецианские чайки совершенны, и нет оснований не прислушаться: в двух шагах от гостиницы — рыбный рынок. Прилавки вырастают по утрам, заселённые продавцами, грёбешками, креветками, переливаются осьминогами, карасём дорадо и прочими каракатицами.

Рабочий везёт на тележке акулу, неимоверное, приплюснутое чудовище из страны лилипутов. Рыба смотрится бодро, но душа её — на полотнах Босха, где птицы размером с колокольню, а деловитый пескарь запекает моряков, бухгалтеров и прочую нечисть.

От Фундаменты Нуове до квадратного острова Сан-Микеле метров четыреста, остановки, при желании можно достичь его вплавь. Бродского везли сюда на гондолах. Около пристани — вход на кладбище, рядом — одинокая лодка, хозяин отлучился — сменить весло или сдать медную выручку. Здесь концы отрезков, здесь истоки вдохновения Арнольда Бёклина.

Многоэтажные мраморные захоронения — оловянные ячейки на вокзале, код от них утерян. Попадают расколы на плитах, надгробья с неразличимым текстом. "На чертаны личных имён там, где нас нет". Забвение неисчерпаемо.

Надпись фломастером, о которой писал Вайль, отсутствует; сам Вайль, увы, теперь здесь. Плита Бродского отличается ухоженностью. Соседство с Эзрой или ящичек для посланий, что более огорчительно, Иосиф Александрович? Сейчас ящика нет, убран и пенал для ручек. Зато много молчания. Много цветов — они, наконец, дома, в своём будущем, лишённом фальши. Letum non omnia finit.

Дождь обозначил присутствие бесцветными мазками. Свеча на плите Стравинского не разгорается, язычок ныряет, как поплавок. В дароносице Дягилева — ношенные пуанты, дань трогательного суеверия; зная бы, что вдохновит наши успокоения. Промозглый мотив зависает, взамен пиццикато Петрушки — пустота утерянной флейты. Машинально смотришь через плечо: свеча Стравинского слглатывает одиночные капли.

Letum non omnia finit. Может быть.

"Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности влюбляться". Наверное, нельзя. Но наркотик в обычных дозах не требуется здесь, почти у ворот рая. Попадая в Зону, прозрачные вещи видишь яснее. Сталкер — это ты. Энергия красоты универсальна. В основе любого творения лежит миф. Вера есть действие. Смерть и любовь пьют из общих корней. В точках сгущения истины надежда становится зримой. Это написано кровью и молоком на стенах разрушенных храмов.

Первая же пристань возвращает ощущение четырёхмерности, втягивает в контекст, и снова бредёшь, глядя на мавританские окна, выживая из каменной сети памятники и базилики. На Дзаттере прекрасное мороженое, его можно есть у воды, где поросшие тиной скользкие ступени. А вода в ожидании прилива выплёкает порции красноватого неба, отдаёт их ветру — тот несёт добычу в сторону сумерек, куда гондольеры уведут доверчивых туристов, репетируя древний Харонов обряд, и откуда доносится плеск стихающей песни.

Город превратил время в строительный материал; время плавилось, текло по венам каналов, фиксируя релятивистское искривление четырёх стихий. Ветер Адриатики — единственная возможность вдоха для клаустрофонических улиц, гулких мраморных лестниц, фасадов, подбитых гирляндами водорослей, для фонарей, чьи ночи хранят мерцающее гало Ренессанса.

Разговор о среднестатистическом гондольере сродни обсуждению египетской пирамиды или Эйфелева творения. Вот он, по-томственный харизматик, один из сертифицированных ангелов. Он на переднем крае войны с племенами скифов, азиатов и прочих варваров, войны осмысленной и беспощадной, не за жизнь, за кошелек. Его весло безошибочно, песня несомнима, он стилистически предсказуем.

Но довольно иронии: гондолы грациозны, как лошади, наблюдение за ними доставляет радость. Управлять такой лодкой — небольшое искусство, в летний сезон все эти люди работают на износ.

Кинематографу недостаёт истории о гондольерах, то была бы драма, полная фатальных противоречий, насыщенная психологией и трогательными мелочами (Висconti слишком аристократичен, Бертолуччи растворяется в пространстве, Леоне и Скорцезе очевидны. Может, Олтман или Вуди Аллен периода бродвейских пуль). Остаётся верить: на небесах этот фильм существует.

Раз в полчаса катер приносит туристов в дар молоху путешествий, он же забирает назад отработанный материал, наполненный впечатлениями, — раз в полчаса, подобно маятнику. У прибывших нет выбора: толпа движется вдоль канала, узкого, вымощенного камнями, мимо обгоняющих взгляд пустырей и строений. Дорога, как положено, ведёт к храму — Санта-Мария Ассунта, церковь с тысячелетней мозаикой.

Анемичный пейзаж наверняка кое-что знает об утиной охоте, чёрно-белом кино и плёнке фабрики "Свема".

Остров Торчелло, царство прибрежного камыша. Здесь стояли дома и соборы роскошнее венецианских, бурлила жизнь. А потом что-то случилось — так прекращает любить сильная женщина — живая вода обратилась мертвенным илом, тлен и запустение выгрызли метр за метром. Что делает в такой ситуации человек? Берёт самое дорогое и уходит. Что делает другой человек? Он берёт с собой город.

Разобрать родные дома и церкви, переправить камни на другой остров. Выстроить там новые дома и церкви. На руинах катастрофы рутинные действия превращаются в деяния, теперь камни Торчелло навсегда имплантированы в тело Венеции.

Обглоданный скелет одиночества, землянистый мрамор статуй. Остров непригоден для земледелия, плуг натывается на средневековые фундаменты. Постмаларийная Атлантида зачем-то оставлена морем на поверхности — когда-то так же выставляли для устрашения тела казнённых. Кажется, жизнь навсегда покинула берега с расшатанными мостками.

Тем удивительней терпкое, как камышовый воздух, желание остаться. Разобрать на камни свой дом, перенести сюда, выстроить его заново на мёртвой земле — и жить, в унисон маятнику пропуска ка-

тер за катером. Что-то подсказывает: это уже было. Или будет. Или существует всегда, недалеко от каменного моста без перил, рядом с византийской мозаикой старой церкви, на полпути к деревянным шатким причалам.

*

Искусство жить в Венеции не распространяется на приезжих. Местного жителя легко вычислить в аква алта: он аккуратно раздвигает голенищами море, обходя босых возбуждённых людей. Наводнение ему привычной дождя, он знает таблицу зон затопления, на первых этажах наготове насосы и прочие амулеты.

Достоинства, переходя в недостатки, обретают хроническую форму: если наводнения — это Сцилла, то Харибда — туристы. С утра до ночи вдоль Канала снуют бизоньи стада, не давая затянуться ранам в просеках улиц. Венеция отдана оккупантам не на три дня, а бессрочно, энтропия гостеприимства нарастает.

Снизить нагрузку непросто, пласты исторических пород выходят на поверхность, смыкаясь в одной из точек прикрепления человеческого рода к небесам. Мир непрерывно стремится в эту точку: зачерпнуть ещё одну порцию красоты, вспомнить о смерти, жить дальше.

*

Так воплощается высшая форма эклектики: греческая мера прекрасного, фатальное римское начало, византийская изворотливость.

Мифология Венеции — апофеоз эллинизма, её кислород подобен составу любви: иллюзия, обольщение, осязаемые плоды. Были ли в той корзине мощи святого Марка? Нужно прожить десять веков так, словно они там были.

Серениссима. Полёт и тяжесть, севшая на воду средневековая летающая тарелка. Создаваемая для счастья, она стала и школой смерти, это ДНК Аквилеи, римские хромосомы: научись умирать, оставляя в живых надежду. Венеция щедро учила детей умирать.

Танцы в обнимку с чумой. Утренний вывоз тел как уборка мусора. Доктора в карнавальных масках, птицы с глазами зверей Апокалипсиса — та чума похлеще печей XX века. Чем ответили люди на вызов тотальной смерти? Красотой и любовью. Новыми церквями.

Змеиное тело Канала разрезает город пополам, это извилистый след Византии. Венеция была проекцией, терпеливой тенью Константинополя; в последнем крестовом походе шарцевская тень впитала и переварила хозяина — и сделала это с византийским коварством.

Последнее звено цепи, Венец, имя собственное. Прекрасное, тленное, изощрённое.

А, может, дело в мелочи, которая отличает это место от всех предшественников. Здесь никогда не было рабства.

*

Бродский упоминает Хэзлитта, тот считал, что Венецию может превзойти лишь город, построенный в воздухе. Метафора кажется остроумной, но и столь же далёкой от сути: по примеру богини, всё живое явило свой лик из воды; устранённая из схемы нового рая, вода на прощание смывает схему в небытие. Один лишь воздух и твердь, что делать живому в Элизии для гидрофобов? Искать воду.

Венеция и есть найденная в пустыне вода; более того, она — укрощение моря. Приручить волны, превратить их в домашнего зверя, такой библейский трюк сродни бессмертному цирковому представлению. Атлантида с подобной задачей не справилась.

Город дышит по утрам, как древнее животное, в ясный день впитывая свет куполами солнечных базилик, в его артериях и капиллярах — кровь неведомой группы. Но если нет пары и не попасть на Новый Ковчег, что делать тогда? Стать Ковчегом.

...А потом, за 15 минут до поезда, ещё выходяшь к пристани, чтобы увидеть, как расцвет струится и расширяется из фасада Сан-Симеоне, словно из кокона, чтобы сделать вдох рядом с водой. И уйти внутрь вокзала, оставляя за спиной Нарцисса в каменной маске, бездонным взглядом скользящего по периметру Гранд-канала.

Владимир СЕРЕБРО Наша одессика

Когда мы с женой решили эмигрировать, то озаботились, естественно, многим, в частности, тем, как можно дольше и полнее сохранить память о любимой Одессе, городе, в котором родились и с которым связана жизнь нескольких поколений нашей семьи. Перспектива оторваться душой от Одессы безумно страшила.

История эта случилась в начале 90-х годов. Тогда к эмиграции готовились многие одесситы. Волнений у них было немало. Одно из них звучало так: что следует взять с собой для продажи за границей? Иными словами, как создать "подушку материальной безопасности" по пути к новой жизни и в ее начале. В спорах по поводу того, что пользуется повышенным спросом "там" — каким глубоким смыслом наполнялось это местоимение! — часто назывались картины современных одесских художников.

В нашей семье живопись понимали и любили, отношение к ней было почти мистическое, поэтому идея приобретения картин захватила и нас, но с совершенно другой целью. Заключалась она в том, чтобы в соответствии с семейной парадигмой приобрести картины одесских художников, но исключительно по одесской тематике. Мы понимали, что картины эти не будут проданы и останутся с нами, а после нас перейдут к нашим потомкам. Ведь в истории не было случая, чтобы живописная работа, принадлежащая нашей семье, продавалась!

В предотъездный период мы были сильно ограничены в средствах, но, тем не менее, решили посетить нескольких одесских художников. Действовали при этом случайным образом. Начали с визита к художнику Михаилу с несколько странноватой, но "вкусной" фамилией — Черешня, одному из ярких представителей "второго одесского авангарда" — южного направления неофициального искусства. Принял он нас в маленькой комнатке квартиры, расположенной, если мне не изменяет память, в хрущевской пятиэтажке. В комнате не было никакой мебели, а картины стояли прислоненными ко всем ее стенам. На вопросы художник отвечал скуп. Казался уставшим. Возможно потому, что встреча произош-

ла в предвечернее время. Работы его нам понравились — сочные яркие краски, много света, некоторые картины с явным сюрреалистическим оттенком. Во всем чувствовался почерк большого мастера. Кстати, последующие годы подтвердили наше впечатление.

Несмотря на положительное отношение к увиденному, мы ничего не купили, поскольку не нашли работ сугубо одесской тематики. Да и картины оказались не по нашему карману. Впрочем, достаточно было одной из этих причин...

Следующий визит мы нанесли художнику Александру Лантухову в его мастерской. Находилась она во дворе известного в Одессе дома на улице Преображенской. В этом доме когда-то жила замечательная актриса Лия Исааковна Бугова. Там я ее несколько раз навещал. Мастерская художника располагалась очень высоко, в чердачном помещении. Чтобы попасть в нее, необходимо было войти во двор, из которого на чердак вела шаткая ажурная металлическая лестница. Да, путь в мир прекрасного бывает не легким и даже опасным...

Если Черешня относился к моему поколению, то Лантухов — представлял следующее. Встретил он нас приветливо, в общении был легок. После взаимных приветствий смущенно произнес:

— Почти все мои лучшие картины раскупили отъезжающие за границу. Мало что осталось. Посмотрите, может быть, кое-что подберете.

Стиль работ этого художника был совсем другим. Я, не будучи специалистом, назвал бы его чем-то средним между реализмом и импрессионизмом. В этом сочетании была своя прелесть — узнаваемость пейзажа и особенное авторское впечатление о нем.

Мы выбрали две небольшие картины маслом. Одна из них — типичный старый одесский дворик двухэтажного дома с галереей по всей его длине, на которую выходят двери квартир. Ворота из двора на улицу полностью открыты. В картине много типично одесского света, сочетающего свет солнца и золотистого ракушечника, распространенного строительного материала старой Одессы.

Поэзия Хаима Гури

Хаим Гури родился в 1923 г. в Тель-Авиве. Учился в школе киббуца Бет-Альфа, в сельскохозяйственной школе в Нижней Галилее. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Во время Войны за независимость (1947 — 49) Хаим Гури — заместитель командира роты. Во время Шестидневной войны (1967) Гури — командир роты, в Войну Судного дня (1973) — старший офицер отдела бронетанковой дивизии. Хаим Гури опубликовал два десятка книг поэзии и прозы, пронизанных гуманизмом и сыновней болью за судьбы еврейского народа. В 1961 году за свой дневник на процессе Эйхмана Гури был удостоен премии Нахума Соколова — высшей журналистской премии Израиля, а за своё поэтическое творчество получил Государственную премию Израиля.

Алтарь

Это было проклятое поле —
Усыпанное раскалёнными камнями,
Обугленными стволами деревьев,
Которое! Они! Прошли!
Крикнув в изнеможенье:
— Вызывай "Цикламен"! —
"Цикламен"?!
— Да! "Цикламен" и... "Медь" в квадрат
Туда..., где горит "Габриэла".
Я гляжу на готовых к броску солдат:
"Кто ещё из нас упадёт теперь уже
На пути к "Габриэле"?
А чей силует замаячит на гребне?
Ведь только он, словно ангел,
Продолживший подъем,
И, просящий "Золота" — прикрития
Для вершины, останется жив.
...Еще немного, и вдали от этих песков
Зарыдают десятки матерей, жён и детей.

Молитва в песках

Вы, вытянувшиеся в песках,
Даже не успев снять кованых ботинок,
Простите меня за всё
И воздайте прощение мне тишиной,
Братья мои во тьме.

В полный рост стою я равнином над вами,
Братья мои по духу.
Всё ясней различаю ваши лица,
Когда приближаюсь в густеющей тишине.
Братья мои во тьме.

При мне всегда — единственно —
моя душа,
Наследство мне от бедной иудейки.
В песках не слышен гул ботинок ваших.

И за то, что жив пока, простите мне,
Братья мои во тьме

Заклинанье-молитва моя восходила
Ступеньками к пылающему небу,
Но не хватало мне слов Элиши —
Об этих песках — они не неизвестны мне...
Братья мои во тьме.

Я стою под западным ветром и под небом юга,
Равнодушным ко всем вам — павшим,
В этой — вызывающей к небу
И со смятенной душой — стране.
Братья мои во тьме.

Стою я над вами, а уже снова мне велят,
Как и вам когда-то, идти на запад.
А тянусь к вам с тяжёлым сердцем своим,
Переполненным вашими душами,
Братья мои во тьме!
Братья мои!

Сговор

Я получу простор и медленный бег воды,
Ты от меня — горы камней для гряды.
Я получу — дубрав таинственных тень
Ты — Святые Места
и щедрый наш знойный день

Ты получишь равнины с оазисами и морями

С этим именем у меня связаны события Войны Судного дня 1973 года. Сегодняшнему молодому читателю мало, что известно о нём, но пусть он спросит у людей постарше, проявив хотя бы любопытство и не только, как это сделал я в окопе перед линией Барлева, прочитав принесённый хамсином солдатский блокнот со стихами. Вот тогда-то и открылась мне душа солдата и поэта по имени Хаим Гури.

Василий Выхристенко.

Другая картина — это жилой четырехэтажный одесский дом на пересечении улиц Греческой и Екатерининской. Он известен одесситам как дом с одним балконом вдоль всего фасада на обе улицы. Картина сделана в сиреневой дымке, опять-таки характерной для города то в сумрачные дни, то в предвечернее время.

В мастерской Лантухова Лилия, моя жена, несколько раз брала в руки небольшое полотно, на котором был изображен известный одесситам дом с атлантами на улице Гоголя, 7. Брала и ставила на место несколько раз. Увидев это, художник сказал:

— Вряд ли эта картина вас заинтересует, ведь дом этот рисуют почти все учащиеся художественного училища.

В ответ последовало:

— Дело в том, что к этому дому у меня особое отношение. Он — творение двух известных архитекторов: Влодека и Ландесмана. Ландесман — мой предок, девичья фамилия моей мамы — Ландесман. Но эту вашу работу мы не можем, к сожалению, купить: нет материальной возможности.

На этом мы расстались. Прошло несколько дней. В нашей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Лантухов, просил разрешения нас навестить, чтобы ознакомиться с живописью в нашей семье. Этому гостю мы были рады.

Пришел он на следующий день. Дверь ему открыл я. Когда он вошел, у него в руке был завернутый в газету плоский предмет — то ли альбом, то ли картина. Он оставил свою ношу в передней и прошел в комнаты. После маленькой экскурсии по квартире мы долго беседовали. Говорили о картинах и о рисунках Лилиного отца.

Перед тем как попрощаться с нами, Лантухов вышел в переднюю и вскоре возвратился, держа в руках заинтересовавшую Лилию картину — дом с атлантами. И сказал:

— Я решил подарить эту картину вам. Принимаю ее скромное художественное значение, но для вас она имеет смысл семейной реликвии.

После этого он на обороте полотна написал: "А. Лантухов".

Этот подарок доставил нам огромную радость. Мы тепло благодарили художника.

С тех пор прошло почти двадцать лет. По сей день в нашей нью-йоркской квартире висят все три городских пейзажа работы А. Лантухова, средний из них — его подарок. Эту мини-выставку мы называем "Наша одессика".

Я — в руинах страну и —
с мина на mine — полями.
Ты дашь — газончик,
и на нём угасший фонтан
а я тебе всех давних соседей —
магометан.

Ты дашь мне рабыню, потупившую взор,
Я — десантницу, рвущуюся в дозор.
Чем не гешефт прекрасный обоим нам,
Только как быть с совестью?
Пополам?

"Ну да — отвечает, — не думай ни о чём.
И на тебе, вот..."
...Под камешком на песке
плевок
и... долларовый счёт.

Земля обетованная

Присно и ныне от гнева
пылают камни
В иерусалимской земле.

Присно и ныне взывают
из бездны горя братья
В иерусалимской земле.

Присно и ныне горка камней
у изголовья спящего
В иерусалимской земле.

Присно и ныне всё ещё заперты
Врата Милосердия
В иерусалимской земле.

Присно и ныне истоптаны дороги
пилигримами
В иерусалимской земле.

Присно и ныне (что говорить о каждом)
Господь себе кажется лишним
В иерусалимской земле.

Перевод с иврита Василия Выхристенко.

тер за катером. Что-то подсказывает: это уже было. Или будет. Или существует всегда, недалеко от каменного моста без перил, рядом с византийской мозаикой старой церкви, на полпути к деревянным шатким причалам.

*

Искусство жить в Венеции не распространяется на приезжих. Местного жителя легко вычислить в аква алта: он аккуратно раздвигает голенищами море, обходя босых возбуждённых людей. Наводнение ему привычной дождя, он знает таблицу зон затопления, на первых этажах наготове насосы и прочие амулеты.

Достоинства, переходя в недостатки, обретают хроническую форму: если наводнения — это Сцилла, то Харибда — туристы. С утра до ночи вдоль Канала снуют бизоньи стада, не давая затянуться ранам в просеках улиц. Венеция отдана оккупантам не на три дня, а бессрочно, энтропия гостеприимства нарастает.

Снизить нагрузку непросто, пласты исторических пород выходят на поверхность, смыкаясь в одной из точек прикрепления человеческого рода к небесам. Мир непрерывно стремится в эту точку: зачерпнуть ещё одну порцию красоты, вспомнить о смерти, жить дальше.

*

Так воплощается высшая форма эклектики: греческая мера прекрасного, фатальное римское начало, византийская изворотливость.

Мифология Венеции — апофеоз эллинизма, её кислород подобен составу любви: иллюзия, обольщение, осязаемые плоды. Были ли в той корзине мощи святого Марка? Нужно прожить десять веков так, словно они там были.

Серениссима. Полёт и тяжесть, севшая на воду средневековая летающая тарелка. Создаваемая для счастья, она стала и школой смерти, это ДНК Аквилеи, римские хромосомы: научись умирать, оставляя в живых надежду. Венеция щедро учила детей умирать.

Танцы в обнимку с чумой. Утренний вывоз тел как уборка мусора. Доктора в карнавальных масках, птицы с глазами зверей Апокалипсиса — та чума похлеще печей XX века. Чем ответили люди на вызов тотальной смерти? Красотой и любовью. Новыми церквями.

Змеиное тело Канала разрезает город пополам, это извилистый след Византии. Венеция была проекцией, терпеливой тенью Константинополя; в последнем крестовом походе шарцевская тень впитала и переварила хозяина — и сделала это с византийским коварством.

Последнее звено цепи, Венец, имя собственное. Прекрасное, тленное, изощрённое.

А, может, дело в мелочи, которая отличает это место от всех предшественников. Здесь никогда не было рабства.

*

Бродский упоминает Хэзлитта, тот считал, что Венецию может превзойти лишь город, построенный в воздухе. Метафора кажется остроумной, но и столь же далёкой от сути: по примеру богини, всё живое явило свой лик из воды; устранённая из схемы нового рая, вода на прощание смывает схему в небытие. Один лишь воздух и твердь, что делать живому в Элизии для гидрофобов? Искать воду.

Венеция и есть найденная в пустыне вода; более того, она — укрощение моря. Приручить волны, превратить их в домашнего зверя, такой библейский трюк сродни бессмертному цирковому представлению. Атлантида с подобной задачей не справилась.

Город дышит по утрам, как древнее животное, в ясный день впитывая свет куполами солнечных базилик, в его артериях и капиллярах — кровь неведомой группы. Но если нет пары и не попасть на Новый Ковчег, что делать тогда? Стать Ковчегом.

...А потом, за 15 минут до поезда, ещё выходяшь к пристани, чтобы увидеть, как расцвет струится и расширяется из фасада Сан-Симеоне, словно из кокона, чтобы сделать вдох рядом с водой. И уйти внутрь вокзала, оставляя за спиной Нарцисса в каменной маске, бездонным взглядом скользящего по периметру Гранд-канала.

Владимир СЕРЕБРО Наша одессика

Когда мы с женой решили эмигрировать, то озаботились, естественно, многим, в частности, тем, как можно дольше и полнее сохранить память о любимой Одессе, городе, в котором родились и с которым связана жизнь нескольких поколений нашей семьи. Перспектива оторваться душой от Одессы безумно страшила.

История эта случилась в начале 90-х годов. Тогда к эмиграции готовились многие одесситы. Волнений у них было немало. Одно из них звучало так: что следует взять с собой для продажи за границей? Иными словами, как создать "подушку материальной безопасности" по пути к новой жизни и в ее начале. В спорах по поводу того, что пользуется повышенным спросом "там" — каким глубоким смыслом наполнялось это местоимение! — часто назывались картины современных одесских художников.

В нашей семье живопись понимали и любили, отношение к ней было почти мистическое, поэтому идея приобретения картин захватила и нас, но с совершенно другой целью. Заключалась она в том, чтобы в соответствии с семейной парадигмой приобрести картины одесских художников, но исключительно по одесской тематике. Мы понимали, что картины эти не будут проданы и останутся с нами, а после нас перейдут к нашим потомкам. Ведь в истории не было случая, чтобы живописная работа, принадлежащая нашей семье, продавалась!

В предотъездный период мы были сильно ограничены в средствах, но, тем не менее, решили посетить нескольких одесских художников. Действовали при этом случайным образом. Начали с визита к художнику Михаилу с несколько странноватой, но "вкусной" фамилией — Черешня, одному из ярких представителей "второго одесского авангарда" — южного направления неофициального искусства. Принял он нас в маленькой комнатке квартиры, расположенной, если мне не изменяет память, в хрущевской пятиэтажке. В комнате не было никакой мебели, а картины стояли прислоненными ко всем ее стенам. На вопросы художник отвечал скуп. Казался уставшим. Возможно потому, что встреча произош-

ла в предвечернее время. Работы его нам понравились — сочные яркие краски, много света, некоторые картины с явным сюрреалистическим оттенком. Во всем чувствовался почерк большого мастера. Кстати, последующие годы подтвердили наше впечатление.

Несмотря на положительное отношение к увиденному, мы ничего не купили, поскольку не нашли работ сугубо одесской тематики. Да и картины оказались не по нашему карману. Впрочем, достаточно было одной из этих причин...

Следующий визит мы нанесли художнику Александру Лантухову в его мастерской. Находилась она во дворе известного в Одессе дома на улице Преображенской. В этом доме когда-то жила замечательная актриса Лия Исааковна Бугова. Там я ее несколько раз навещал. Мастерская художника располагалась очень высоко, в чердачном помещении. Чтобы попасть в нее, необходимо было войти во двор, из которого на чердак вела шаткая ажурная металлическая лестница. Да, путь в мир прекрасного бывает не легким и даже опасным...

Если Черешня относился к моему поколению, то Лантухов — представлял следующее. Встретил он нас приветливо, в общении был легок. После взаимных приветствий смущенно произнес:

— Почти все мои лучшие картины раскупили отъезжающие за границу. Мало что осталось. Посмотрите, может быть, кое-что подберете.

Стиль работ этого художника был совсем другим. Я, не будучи специалистом, назвал бы его чем-то средним между реализмом и импрессионизмом. В этом сочетании была своя прелесть — узнаваемость пейзажа и особенное авторское впечатление о нем.

Мы выбрали две небольшие картины маслом. Одна из них — типичный старый одесский дворик двухэтажного дома с галереей по всей его длине, на которую выходят двери квартир. Ворота из двора на улицу полностью открыты. В картине много типично одесского света, сочетающего свет солнца и золотистого ракушечника, распространенного строительного материала старой Одессы.

Поэзия Хаима Гури

Хаим Гури родился в 1923 г. в Тель-Авиве. Учился в школе киббуца Бет-Альфа, в сельскохозяйственной школе в Нижней Галилее. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме.

Во время Войны за независимость (1947 — 49) Хаим Гури — заместитель командира роты. Во время Шестидневной войны (1967) Гури — командир роты, в Войну Судного дня (1973) — старший офицер отдела бронетанковой дивизии.

Хаим Гури опубликовал два десятка книг поэзии и прозы, пронизанных гуманизмом и сыновней болью за судьбы еврейского народа. В 1961 году за свой дневник на процессе Эйхмана Гури был удостоен премии Нахума Соколова — высшей журналистской премии Израиля, а за своё поэтическое творчество получил Государственную премию Израиля.

Алтарь

Это было проклятое поле —
Усыпанное раскалёнными камнями,
Обугленными стволами деревьев,
Которое! Они! Прошли!
Крикнув в изнеможенье:
— Вызывай "Цикламен"! —
"Цикламен"?!
— Да! "Цикламен" и... "Медь" в квадрат
Туда..., где горит "Габриэла".
Я гляжу на готовых к броску солдат:
"Кто ещё из нас упадёт теперь уже
На пути к "Габриэле"?
А чей силует замаячит на гребне?
Ведь только он, словно ангел,
Продолживший подъем,
И, просящий "Золота" — прикрития
Для вершины, останется жив.
...Еще немного, и вдали от этих песков
Зарыдают десятки матерей, жён и детей.

Молитва в песках

Вы, вытянувшиеся в песках,
Даже не успев снять кованых ботинок,
Простите меня за всё
И воздайте прощение мне тишиной,
Братья мои во тьме.

В полный рост стою я равнином над вами,
Братья мои по духу.
Всё ясней различаю ваши лица,
Когда приближаюсь в густеющей тишине.
Братья мои во тьме.

При мне всегда — единственно —
моя душа,
Наследство мне от бедной иудейки.
В песках не слышен гул ботинок ваших.

И за то, что жив пока, простите мне,
Братья мои во тьме

Заклинанье-молитва моя восходила
Ступеньками к пылающему небу,
Но не хватало мне слов Элиши —
Об этих песках — они не неизвестны мне...
Братья мои во тьме.

Я стою под западным ветром и под небом юга,
Равнодушным ко всем вам — павшим,
В этой — вызывающей к небу
И со смятенной душой — стране.
Братья мои во тьме.

Стою я над вами, а уже снова мне велят,
Как и вам когда-то, идти на запад.
А тянусь к вам с тяжёлым сердцем своим,
Переполненным вашими душами,
Братья мои во тьме!
Братья мои!

Сговор

Я получу простор и медленный бег воды,
Ты от меня — горы камней для гряды.
Я получу — дубрав таинственных тень
Ты — Святые Места
и щедрый наш знойный день

Ты получишь равнины с оазисами и морями

С этим именем у меня связаны события Войны Судного дня 1973 года. Сегодняшнему молодому читателю мало, что известно о нём, но пусть он спросит у людей постарше, проявив хотя бы любопытство и не только, как это сделал я в окопе перед линией Барлева, прочитав принесённый хамсином солдатский блокнот со стихами. Вот тогда-то и открылась мне душа солдата и поэта по имени Хаим Гури.

Василий Выхристенко.

Другая картина — это жилой четырехэтажный одесский дом на пересечении улиц Греческой и Екатерининской. Он известен одесситам как дом с одним балконом вдоль всего фасада на обе улицы. Картина сделана в сиреневой дымке, опять-таки характерной для города то в сумрачные дни, то в предвечернее время.

В мастерской Лантухова Лилия, моя жена, несколько раз брала в руки небольшое полотно, на котором был изображен известный одесситам дом с атлантами на улице Гоголя, 7. Брала и ставила на место несколько раз. Увидев это, художник сказал:

— Вряд ли эта картина вас заинтересует, ведь дом этот рисуют почти все учащиеся художественного училища.

В ответ последовало:

— Дело в том, что к этому дому у меня особое отношение. Он — творение двух известных архитекторов: Влодека и Ландесмана. Ландесман — мой предок, девичья фамилия моей мамы — Ландесман. Но эту вашу работу мы не можем, к сожалению, купить: нет материальной возможности.

На этом мы расстались. Прошло несколько дней. В нашей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Лантухов, просил разрешения нас навестить, чтобы ознакомиться с живописью в нашей семье. Этому гостю мы были рады.

Пришел он на следующий день. Дверь ему открыл я. Когда он вошел, у него в руке был завернутый в газету плоский предмет — то ли альбом, то ли картина. Он оставил свою ношу в передней и прошел в комнаты. После маленькой экскурсии по квартире мы долго беседовали. Говорили о картинах и о рисунках Лилиного отца.

Перед тем как попрощаться с нами, Лантухов вышел в переднюю и вскоре возвратился, держа в руках заинтересовавшую Лилию картину — дом с атлантами. И сказал:

— Я решил подарить эту картину вам. Принимаю ее скромное художественное значение, но для вас она имеет смысл семейной реликвии.

После этого он на обороте полотна написал: "А. Лантухов".

Этот подарок доставил нам огромную радость. Мы тепло благодарили художника.

С тех пор прошло почти двадцать лет. По сей день в нашей нью-йоркской квартире висят все три городских пейзажа работы А. Лантухова, средний из них — его подарок. Эту мини-выставку мы называем "Наша одессика".

Я — в руинах страну и —
с мина на mine — полями.
Ты дашь — газончик,
и на нём угасший фонтан
а я тебе всех давних соседей —
магометан.

Ты дашь мне рабыню, потупившую взор,
Я — десантницу, рвущуюся в дозор.
Чем не гешефт прекрасный обоим нам,
Только как быть с совестью?
Пополам?

"Ну да — отвечает, — не думай ни о чём.
И на тебе, вот..."
...Под камешком на песке
плевок
и... долларовый счёт.

Земля обетованная

Присно и ныне от гнева
пылают камни
В иерусалимской земле.

Присно и ныне взывают
из бездны горя братья
В иерусалимской земле.

Присно и ныне горка камней
у изголовья спящего
В иерусалимской земле.

Присно и ныне всё ещё заперты
Врата Милосердия
В иерусалимской земле.

Присно и ныне истоптаны дороги
пилигримами
В иерусалимской земле.

Присно и ныне (что говорить о каждом)
Господь себе кажется лишним
В иерусалимской земле.

Перевод с иврита **Василия Выхристенко.**

Леонид ГЕРВИЦ Эскизы воспоминаний

В раннем детстве я зачитывался (а верней, засматривался) Гоголем и Бальзаком. Оба издания были напечатаны на трофейных немецких станках и на тончайшей, цвета слоновой кости, мелованной бумаге. Фолианты в чудесных кожаных переплетках было приятно держать в руках, но главное — в них были чудесные иллюстрации, работы Милашевского, Агина, Боклевского, Кукрыникова, Кибрика. С последним я потом (через двадцать лет) познакомился лично.

Оттуда, из раннего детства, думаю, идет моя страсть к рисованию. Читать в то время я еще не умел. Иллюстрации к Бальзаку погружали мое юное воображение в далекую Францию, которая казалась такой же манящей, как запах этих чудных книг. Бальзак был очень большим и увесистым, и мне было тяжело держать его, сидя на ночной вазе. С Гоголем было полегче. Прежде чем его рассматривать, я снимал суперобложку цвета теплой охры, с овальным портретом классика, как я узнал позже, работы Федора Моллера. Под внутренней обложкой цвета шоколада тоже скрывалась масса отличных иллюстраций. Гоголевский мир был иным, чем французский. Здесь чувствовался некий условный язык образов, отклонение от реальности, как я потом узнал, продиктованное неподражаемым гоголевским юмором.

Мой отец был книголюбом особого толка. Он был активным членом "комиссии содействия" (как потом он называл ее — "бездействия") при магазине подписных изданий, находившемся на Дерибасовской, между улицами Ленина и Карла Маркса. Иногда он брал меня туда с собой, и я видел, как члены этой самой комиссии живо обсуждали непонятные мне проблемы. Папа был очень живой и активный, переходил от одной группы умных солидных мужчин к другой. Мне тогда это не нравилось, казалось, что он слишком суетится и не так гордо и независимо себя ведет, как мне бы того хотелось. Уже в те ранние годы у меня проявлялся (видимо, от мамы и ее семейной ветви) гордый и независимый нрав, который мне впоследствии, в годы эмиграции, сильно мешал. Зато папина живая приспособляемость и коммуникативность потом в моей жизни не раз служили мне на пользу. Его умение пробивать стены, которых так много всегда было в жизни, особенно советской.

Самое интересное было то, что отец никогда этих книг (которых становилось все больше и больше, и скоро старый книжный шкаф их уже не вмещал, и понадобился уж новый), как мне казалось, не читал. По занятости или по причине своего природного ума, но он не черпал знаний из книг — за исключением специальной технической литературы, как, например, большой зеленой книги "Детали машин" или "Справочник технолога".

Гуманитарной частью нашей жизни завела мама, которая была законодателем культурной атмосферы в доме и иногда, при случае напоминала отцу его "мечтучко". Так было, когда после сытного обеда он проштрафился отрыжкой, которая была вызвана не столько его "местечковым происхождением", сколько проблемами пищеварительного тракта, сопутствовавшими ему всю его долгую жизнь и, в конце концов, сведшими его в могилу. Уже много лет спустя, приехав в страну "высокого порядка" — США, я с ужасом наблюдал тут и там, как люди рыгают и при этом не только не скрывают, а как бы даже делают это напоказ, получая удовольствие. Ничто человеческое не отвратительно, понял я принципы этой страны. Зашоренность матери в плане приличий, которая всегда довлела над отцом, спала с его плеч, когда мы все оказались в стране его мечты — Америке. Он перестал пресмыкаться перед материнским культурным диктатом. Она даже перестала делать ему замечания (все-таки чужая территория), хотя изредка безнадёжно протестовала: "...что-то ты сильно осмелел". А он торжествующе двусмысленно улыбался, и его ноздри победно вздрагивали при этом, как у дышащего, наконец, свежим воздухом коня. А он и был конем, тянувшим всю жизнь повозку нашей семьи, пусть иногда излишне рьяно и суетливо в деталях, но прочно и стабильно, в основе сущности дел и событий. И тем, что я стал художником, я обязан во многом ему, его поддержке и его неукоснительной вере в меня и в мои способности.

В моей жизни, как в истории Южной Америки, есть два периода: "до-Мая" и "Мая-период". Описываемые здесь и далее события относятся в основном к "домашнему периоду". Он был непродолжителен, но оставил самые райские воспоминания о жизни, предшествовавшей появлению на свет моей сестры Майи. Восемь с половиной лет безраздельного царствования в пределах одной семьи — это, может, и краткий, но очень запоминающийся отрезок. Будучи в центре системы, вокруг которого она вращалась, не имея никаких обязанностей, а лишь одни права, я на всю жизнь запасаю очень памятным для будущего художника чувством исключительной значимости. Это чувство, как поплавок или спасательный круг, тоже часто выручало меня в бурях творческой жизни, не давало отчаяться, опустить голову и отдалиться на произвол не всегда доброй судьбы.

В детстве я часто болел и, может быть, поэтому пользовался всеобщим вниманием и жалостью. Вся семья старалась мне угодить, опекала и оберегала меня от случайного ветерка и случайной инфекции. Но я все равно неведомым образом простужался или маялся то краснухой, то свинкой, то коклюшем. Приходилось подолгу лежать в постели, скучая и мучаясь от бездействия, а иногда с высокой температурой и в настоящем бреде. В таком положении мое воображение очень скоро обращалось к искусству. Поначалу это было копирование книжных иллюстраций или открыток с картин русских художников, которые попадались под руку. Помню "Неравный брак" Пукирева, "С квартиры на квартиру" Васнецова, "Порожняки" Прянишникова — в основном это были картины передвижников. В те далекие теперь уже пятидесятые годы в Советском Союзе еще не знали ни Пикассо, ни современного западного искусства. Если память мне не изменяет, первые упоминания о "потусторонней" живописи попались мне на глаза году в 1962 — 65-м при чтении воспоминаний Ильи Эренбурга "Люди, годы, жизнь" ("Французские тетради"). Вскоре в Москве (до нас в Одессу дошли слухи) были показаны офорты Пикассо, и стала везде порхать его "голубка мира". Официальная же художественная продукция была сугубо реалистической (включая известный русский критический реализм). Я интуитивно тянулся к миру художников и к книгам о них. Но, как сейчас вспоминаю, меня интересовало не столько "что" изображено на картине, сколько "как" это сделано.

Над моей кроватью висело несколько масляных картин, которые всегда, днем и ночью, были у меня перед глазами, и я подолгу их разглядывал.

Дед мой по матери был офицером и в военное время работал в лагере для военнопленных немцев. Он был очень симпатичным и порядочным человеком. Добродота как будто струилась из его черных, как масляни, глаз. Видимо, так же думал один из пленных немцев, художник, сделавший ему в подарок несколько хороших копий, в том числе с "Неизвестной" (у нас дома ее называли "Незнакомка") Ивана Крамского. Она, эта Незнакомка, и служила постоянным объектом моего детского разглядывания. (Шестьдесят лет спустя я был свидетелем того, как посетители выставки русской живописи в музее Гугенхайма в Нью-Йорке толпами стояли возле этой удивительной картины.) Там же на стене висел овальный пляжно-курортный пейзажик, который мои родители привезли из поездки в Ялту. Какой-то ампириный беленый парапетик с нависающим над ним большим зеленым пальмовым листом и голубеющая полоска моря вдаль. И, глядя на эту незатейливую курортную поделку, я озадачивался вопросом, как ловко мазнул художник смесью зеленой и желтой красок, как жирно и гладко "вылепил" мазок, дающий полное представление о пальмовом листе. Я переводил взгляд выше, и он попадал уже на большую, в золотой раме, настоящую, на холсте, картину "Лунная ночь на море". Гораздо позже я узнал, что на ней изображена гора Медведь, Аю-Даг, в Гурзуфе, которую мне пришлось видеть наяву и писать сорок лет спустя, живя в Доме творчества Союза художников СССР, на бывшей даче Коровина. Описываемая картина тоже была копией, но, как я сейчас понимаю, очень недурной. Осо-

бенно меня поражала лунная рябь на море, сделанная маленькими мазочками белой краской. Поражало, как краска превращается в правду жизни, это чувство, которое гораздо позже мой незабвенный учитель в Академии художеств Виктор Михайлович Орешников назвал "чудом живописи", когда обыкновенная глина, замешанная краской, под умелой рукой художника превращается в жизнь на холсте.

Вышеупомянутый дед мой, по рассказам матери, однажды увидев, как младенец тянется к картинам на стене, сказал: "Это будет эстет". Не знаю, стал ли я эстетом, но искусство с тех первых дней моей жизни вошло в нее навсегда, и можно только благодарить судьбу за этот подарок. Жизнь в искусстве очень непроста, иногда мучительна. Среди редких радостных дней — много дней черной работы, разочарований, рухнувших надежд. Но что остается неизменным и греет душу, как рюмка доброй водки в морозный день, так это непреходящая вера, что то, чем ты занимаешься, — лучшее занятие на Земле. И что неважно, победитель ли ты, важнее, что ты — не проигравший и что у тебя есть верный друг — твоё искусство, которое всегда с тобой.

Дед и бабушка со стороны мамы были главными "рассказчиками искусства" в моем детстве. Бывая изредка в их квартире на Маразлиевской, 7, я мог видеть не только немецкие копии с русской живописи, но и знакомился воочию с цветом мировой музыкальной культуры. Стены единственной огромной, по моим тогдашним представлениям, комнаты (особенно в сравнении с нашей, где мы ютились с родителями втроем) были увешаны портретами великих композиторов: прямой, поднутый Шопен, Моцарт с бантом в парике, Шуберт в пенсне, величественный Бах... Довершала музыкальную экспозицию большая картина. Старая, похоже, немецкая супружеская пара: она в чепчике и он, седовласый, в клетчатом пледе, играли в четыре руки на коричневых клавикордах.

У стены, на черном пианино фирмы "Bechstein", громоздился бюст Бетховена, еще один Моцарт, но уже без банта, и семь мраморных слоников, мал мала меньше.

По праздничным дням или дням рождения, когда приезжал из другого города мамин брат Мишенька, черноволосый красавец, всеобщий любимец, наша семья собиралась у бабушки. В эти веселые, шумные минуты она любила садиться за пианино и, блестя кольцами, быстро и ловко гоняла своими длинными тонкими пальцами по клавишам, издавая ноггами пластмассовое цоканье. Потом садилась играть мама и лирично исполняла ноктюрн Шопена. Потом садился Миша, который был самоучкой, но тоже совершенно здорово играл с неизвестно откуда взявшимся мастерством. При этом во рту у него, между зубов, была обычно зажата маленькая треугольная пластинка из прозрачного пластика, и он издавал ею совершенно изумительный свист, который я мог бы сравнить только с пением Ивана Козловского или блиставшего в те годы "свистуна" Ней.

Так музыка вошла в мою жизнь почти на равных правах с живописью. И одно время моя бабушка даже взялась меня учить. Но то ли у нее не хватило жесткости ко мне, необходимой при всяком воспитании, то ли я чувствовал, что музыка слишком глубоко проникает в мою молодую душу (однажды во время бабушкиной игры я даже, рыдая, бросился на пол и стал биться от неумения вытерпеть это мучение Шопеном), но наши уроки вскоре прекратились. Была еще попытка определить меня в школу Столярского. Помню классную комнату: я стою у стола лицом к классу, в котором сидят всего несколько взрослых. Мама осталась дожидаться в коридоре. Мне играют мелодию, которую я должен повторить. Я повторяю, как — не знаю, мне трудно сейчас судить об этом. Ясно одно, что у меня был и остался на всю жизнь абсолютный слух (о котором мне позже говорили серьезные музыканты). Тогда же я был отвергнут "компетентным жюри" со словами: он же не поет, а кричит! Как будто я поступал на отделение не фортепиано, а вокала. На дворе был 1952 год. Назревало "дело врачей". "Великий кормчий" был еще жив, и еврейский вопрос в советской стране еще не был решен. Одесское музыкальное общество было и так перегружено

"сионистами" и "космополитами". Ему не нужны были новые кадры, тем более — сторонние, ведь блата у нас не было. Так для страны был потерян хороший, а может, и отличный музыкант. Моей тайной мечтой (несбыточной уже) всегда было стоять перед оркестром и вести этот многозвучный огромный слаженный коллектив куда-то в даль бетховенских или вагнеровских симфоний. Но, увы... Судьба распорядилась иначе. Весь музыкальный багаж нашей семьи канул в Лету. Уделом жизни стала живопись, которой никто и никогда в нашем роду не занимался.

Душистые (по-своему) жирные разноцветные бrikетки пластилина лежали в картонной коробке передо мной на классной парте одесской школы № 117. Бrikеты велела нам купить наша учительница. Как всех первых, самых первых учительниц, ее звали Мария Ивановна. Пластилин был куплен в большом шумном магазине напротив, через дорогу от школы. Магазин назывался "Два слона". Там в самом деле стояли огромные, как мне теперь кажется, матерчатые серые слоны, которые своими хоботами образовывали арку над проходом из одной части магазина в другую. Поздней на стене этого дома появилась мемориальная доска Бабелю. Но в описываемые мною годы в доме, в его задней, дворовой части, выходящей окнами внутрь квартала, жил человек, который запомнился мне на всю жизнь. Он жил в большущей, пустой и почему-то всегда затемненной комнате. В ней почти не было мебели: стол, кровать и громадный сундук составляли все ее убранство. Уже не помню, кто из моих друзей (может быть, это был Аркаша Креймер) впервые привел меня в этот дом. Его хозяина, худого, долгового, еще не старого, лет тридцати, мужчину звали Марк. Он картавил, произнося вместо "р" — "в", хотя в основном он молчал. Встречая меня, он произносил: "А, за мавками пвишил", — и отправлялся к огромному сундуку. Ясно, что если бы не он, то мной было бы съедено намного больше душистых белых булочек и выпито вкусного одесского послевоенного молока в школьном буфете у тети Муси. Нечасто, но время от времени я с упорством маньяка отдавал кровные маминь 30 — 50 копеек за сокровища, хранившиеся в большом сундуке картавого молодого человека. К восьмому классу у меня сложилась уже приличная коллекция марок. Среди моих друзей-приятелей тоже было несколько таких любителей. Мы часто обменивались марками, конечно, бестолково, как я теперь понимаю. К примеру, мне очень нравилась венгерская серия к Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, которая была в собрании моего друга Шурика Мимхо. За нее я отдал короля Румынии Михая, серию марок, выпущенную во время фашистского правления. Конечно, обмен был недостойным, но венгерские марки были такие яркие, красивые, так чудно выглядели в Шуркином классе, что мой длинный и тощий Михай не мог с ними конкурировать. Однажды мне попала маленькая розовая марочка острова Святого Маврикия. Она была невзрачной, и как пришла ко мне, так и ушла, как уходили Макао, Сен-Пьер и Микелон и многое другое. Через много лет я узнал, что, будь я поумнее в мире филателии, то, обладая этой маленькой марочкой, давно был бы богатым человеком.

"Гинекология" — учебник, который лежал в моем любимом книжном шкафу на нижней полке. "На самой нижней", так, что до него я добрался, сообразно моему росту, довольно рано. Учебник остался от маминых занятий в медицинском институте, прерванных моим появлением сперва в виде эмбриона, а затем человека на этом свете. Там внизу лежали еще большие клавиры сонат. Но разглядывать их было совсем неинтересно, хотя мама очень ими гордилась: взяв их в руки, я испытал жестокое разочарование видом ничего для меня не значащих значков. Иное дело был гинекологический курс для будущих медиков. Очень подробные, прекрасно выполненные в технике высокой печати иллюстрации завладели моим интересом. И едва родители уходили из дому, а я оставался на попечении деда и бабушки, то устремлялся к книжному шкафу, к нижней полке.

Как-то я даже похвастался своей находкой моему приятелю Вове Финкельштейну, жившему этажом выше и тоже собиравшему марки. С Вовкой у меня случился нешу-

точный конфликт: я уличил его в краже марок. Возвращаясь от "друга" после бешеного обмена, я недосчитался нескольких штук. Поднявшись опять к нему, я заглянул между делом под диван и ахнул: с десятков моих марок лежало под диваном. Оказывается, юный похититель, сидя на коленях перед диваном, на котором и происходил важный обмен, незаметно от меня их туда спихивал. Этот Вова был хитроватый бездельник, не вылезавший из троек и вечно канючивший, как плохо у него дела с учебкой, как мать его за это ругает и не дает денег на марки. Помню, как я, будучи молодым теленком, а точнее сказать, демократом и поборником справедливости, которой, как известно, в мире нет, часто его утешал, дескать, не горюй, я тоже не всегда получаю четверки и пятерки. На самом деле они преобладали в моем дневнике и давались мне без особого труда. Как-то однажды мать, услышав мою глупую тираду в поддержку друга, посоветовала не болтать ерунды и не наговаривать на себя. С тех пор прошел не один десяток лет, но я помню эту беседу и думаю, что не сильно поумнел в своем желании сделать мир счастливее, чем он есть, в силу своего незлобивоного нрава.

Возвращаясь к "эротической" книге с нижней полки, я теперь иногда думаю: а не было ли это раннее знакомство с ее содержанием подспудным фрейдистским толчком к моему интересу к искусству живописи, которое так тесно связано с вечной нераскрытой тайной женщины, так или иначе владеющей миром художника. Может быть, так оно и было, но только отчасти. Ибо тайна женщины, хотя и присутствует всегда в моей жизни и составляет до сих пор предмет раздумий и картин, была все-таки не самой главной силой, толкавшей мою руку к бумаге или холсту. Были вещи довольно далекие (на первый взгляд) от женских ног и бедер, но тоже сильно действовавшие на мою восприимчивую душу. Например, белые серебристые облака на нежно-голубом одесском небе, или игра солнечных зайчиков на глади Черного моря, или причудливые лепные украшения на карнизах одесских домов старой дореволюционной постройки.

Собственно говоря, мое рисование началось с танков и самолетов, конечно же, советских краснотельных Т-34 и тупоносных Яков. А причиной всему был мальчик из детского сада, с которым мы сидели за одним столом и который здорово их рисовал. Сорок пять лет спустя я узнал его по неизменившемуся строению черепа на одном из вернисажей в музее русского зарубежного искусства в Джерси-сити. Он стоял с женой, когда я подошел и сказал:

- А я вас знаю!
- И как же его зовут? — спросила жена.
- Феликс, — был мой ответ.
- А фамилия?
- Ройзен.

Все было точно. Феликс Ройзен прошел к тому времени длинный жизненный путь, был боксером, водопроводчиком, слесарем. Эмигрировав в Америку, устроился смотрителем домов. И НИКОГДА с детства больше ничего не рисовал. А я-то... Неисповедимы пути твои, господи!

В моем классе из сорока пяти человек двадцать восемь были евреями. Евреи были и среди учителей. Самым популярным из них был Владимир Ефимович Гольдберг ("Ефим"). Говорили, что в войну он служил в разведке. На лацкане его серого шевитового пиджака всегда была прикреплена "Красная звезда", очень важный орден для младшего и среднего комсостава. Его предмет, математику, все если не любили, то уважали. А может, просто побаивались "Ефима", который был всегда суров, насмешлив и, казалось, непробиваем на жалость. Он был коренаст, кряжист. Обладая, видимо, большой физической силой, что выдавали его большие руки, всегда испачканные мелом.

Помню, на одном из первых его уроков я был вызван к доске. Воспитанный в весьма демократическом духе в семье я так же доверчиво, как дома, с наивным видом сказал, что я сегодня не готов. Он блеснул на меня зеленоватыми глазами, пригладил по обычаю свои уже сильно поседевшие волосы на большой сократовской голове и, обращаясь к классу, сказал: "Вы посмотрите на этого студента — он сегодня не готов!" И вслед за этим влепил мне в журнал жирную лиловую двойку. Это была вторая двойка в моей жизни. Первую я получил за пару лет до этого еще при "Марии Ивановне", любимой первой учительнице. Как известно, все первые учительницы — Марии Ивановны. Но наша была, по мнению родителей, самая лучшая, как мама или бабушка. Ей было за сорок, но она казалась очень старой. Легкие усики проступали

над ее всегда что-то говорящим ртом. Голос ее забыть невозможно и по прошествии шестидесяти лет, я как будто и сейчас слышу его горловой звук, влажный, слегка осипший от постоянной говорильни с оравой молодых дураков.

Любимым моим предметом всегда была литература. Я очень рано стал читать, любил перечитывать и часто запоминал тексты почти дословно. Так я однажды поразил первую мою "училку" тем, что почти слово в слово пересказал в классном сочинении историю с участием генералиссимуса Суворова из книги Леонтия Раковского, с которым меня свела судьба почти сорок лет спустя в Ленинграде в мастерской замечательного графика, моего друга Рудольфа Яхнина. Надо сказать, что к домашним заданиям я относился легко, без особого страха их не выполнить, опять-таки из-за либерализма, царившего в нашей семье в "домашний" период. Однако первую двойку в жизни я получил на уроке своей любимой учительницы и любимой русской литературы. Уже почти охрипшим, как после холодного пива, голосом Мария Ивановна вызвала меня, чтоб читать наизусть "Уж тает снег, бегут ручьи". Я сидел на четвертой или пятой парте первого от окна ряда. Лучи теплого одесского солнца лежали на парте косой дорожкой, кремово-голубое небо с жемчужными облаками сияло в стеклах больших окон. Голос Марии Ивановны застал меня врасплох. Она долго ожидающе смотрела на меня, видимо, ей не очень хотелось портить отношения, к тому же я был, очевидно, один из семьи надежных ее "кадров". Но дело требует решения. И первая двойка синей птицей влетела в мой дневник. Конечно, мне стало не по себе, но мама дома была не очень строга, и дело замялось быстро, хотя стыд остался на всю жизнь, и потом на многие годы поэзия стала одной из главных форм моего духовного бытия.

М. И. была для нас действительно "домашней" училкой. Однажды лютотой (как это возможно в Одессе) зимой рядом со школой раскатали ледовую дорожку. После уроков все с портфелями (ранцев еще не было) с разгоном летели по ней вниз к улице Ленина. Пролетел и я, но кто-то подставил ножку, и я, плюхнувшись прочертил головой лед. Не на шутку разозлившись, я схватил портфель и с размаху огрел, как мне показалось, виновного. Это был Витька Бухман с нашей улицы Розы Люксембург, 19, старше нас на год или два. Тот, недолго думая, вмазал мне в нос кулаком. В глазах потемнело, я залился кровью. Откуда ни возьмись — М. И. Уж не знаю, как она все это проследила, но через минуту я уже сидел в школьном медпункте, с холодным льдом на многотрапальном носу. Да, М. И. была "настоящая". До ее последнего дня (ее не стало в конце девяностых) она живо интересовалась моими успехами, слала мне приветы в Ленинград и, очевидно, гордилась своим учеником—"академиком". Светлая ей память! Марии Ивановне Коваленко. Когда я защитил в Академии художеств диплом в 1972 году, сюжет показали в программе "Время" по всему Союзу. И она увидела его в далекой от столицы Одессе. Потрясенная и обрадованная М. И. вскоре привезла для меня посылку — вишневым компот, шоколадное масло и пр. Одно время мы коротко обменивались открытками. Потом, как обычно, жизнь взяла свое. А жаль...

В классе пятом у нас стало много учителей. Среди них выделялись три Владимира. Об одном — В.Е. Гольдберге я уже рассказывал. Еще были Владимир Антонович Кулеша (русский язык и литература) и Владимир Ильич Трофимовский (украинский язык и литература). О них стоит упомянуть особо, ибо благодаря им пошла моя вера в слово и в порядочность за пределами моей семьи. Когда В.А. Кулеша появился в классе, мне тотчас вспомнились мои любимые иллюстрации Боклевского к "Ревизору" из собрания сочинений Гоголя 1947 года. В. А. обладал в высшей степени нестандартной внешностью: среди учеников он получил прозвище Пупочка. Надо сказать, оно необычайно точно шло к нему. Если бы вместо темно-синего в белую полосу свободного, но элегантно пиджака со всегда белыми от мела лапанами карманов и широкими брюками, делавшими его похожим то ли на попа-расстригу, то ли на актера провинциального театра, представить его в фартуке и косоворотке, то получил бы типичный трактирный половый. На законодателя нашей классной русской культуры он с виду никак не тянул. Самые подлые из нас, такие, как Вовка Сухарев, у которого брат уже сидел за что-то, сразу почувствовали в нем какую-то слабинку и стали педалировать ее. "Сухарев — вы мерзость", — цедил сквозь свои

короткие белесые усы гладко причесанный В. А. и неизменный жестом срывал со своей белой, почти пушкинской руки с такими же почти ногтями (предмета моего постоянного любования, по моей, как оказывается, старой привычке все подмечать) золотые часы с браслетом и скандально бросал их на учительский стол. Мне было жаль его бесконечно. Было обидно, что он так слаб и незащищен перед лицом простого или изощренного хамства, той особой одесской наглости, которая в мое время так красочно цвела в молодежно-подпольной среде. Бедный В. А., он был вынужден приходить в пятый "А" класс и сразу на первой от стола парте видеть Сухарева во всегда расхристанной рубашке, с сиплым голосом и всеми манерами чуждого ему, В. А., мира.

И, наконец, третий Владимир. Писатель, фронтовик, участник партизанского движения в Украине, в районе реки Кодыма. Весь такой приподнятый, торжественный, с седеющей большой шевелюрой на манер великих актеров. Уже стареющий, но так бодро и прямо несущий свою прекрасную голову, Владимир Ильич Трофимовский завершал выдающуюся триаду наших лучших учителей. Он был очень спокойный, уравновешенный человек. Даже Сухарев на его уроках почему-то мне не запомнился. Я был его любимцем (что странно для еврея-ученика и украинского националиста-учителя, каким, по-моему, был Ильич). При разных комиссиях он вызывал меня, зная, что не покраснеет за свою работу.

"Ой, вбито, вбито, затягнуто в жито, Червоною китайкою личенько прикрито..."

Неопределенно-личное предложение было моим коронным номером.

Владимир Ильич звал меня к себе домой, в свою скромную квартирку где-то в районе бульвара. Мы ели вареники с творогом, заботливо приготовленные его женой. Уже учась в Академии, я, приезжая в Одессу, навещал его. Мы сидели на бульваре, а он говорил о войне, о Кодыме, о литературе. Его речь была торжественна, но не напыщенна. Несмотря на мой привычный скептицизм, я верил ему и любовался его головой мыслителя. Мне было жаль, что он стареет — руки и ноги его были уже подернуты желтизной времени. Но рядом с ним я чувствовал себя лучше и значительнее. Он умел поднимать до своего уровня. Он был Учитель.

Можно здесь рассказать о слепом историке Исааке Израилевиче Заке. Он обладал великолепным слухом и мог называть фамилию того, кто шалит или шепчется. Я был у него всегда "Геррррбиц", с гортанным "р". Говорили, что он любил плавать в море и якобы утонул. Историю он знал чисто по учебнику. Наверное, его учительство было его очередным рубежом, который он брал с боем. Сила в нем чувствовалась недюжинная.

Они все были красивые люди, наши послевоенные учителя-мужчины. Женщины как-то не особо производили впечатление. За исключением географички Эммы Осиповны. С гладко зачесанными светлыми волосами у нее был суровый, строгий вид. И вся она была, как бейсбольная бита: ладно и крепко скроена. С ее не слишком красивыми, но сильными белыми ногами связаны мои первые эротические мечтания. Будь в ней меньше от СС-фрау, быть может, я бы влюбился. Говорили, что она слаба к историку Исааку Израилевичу. Кто знает.

Я всегда любил (благодаря моим марочным делам) географию. Но из-за Эммы стал ненавидеть климат. Когда она говорила что-то про "азовский максимум" и тыкала своей короткой указкой в бумажную надорванную на сгибах карту, мне очень хотелось крикнуть что-нибудь дерзкое в ее опрятно-неприятное лицо. Вот было бы интересно посмотреть, как она выходит из себя, наверняка не так элегантно-прекрасно, как Владимир Антонович! А уж представить себе, что она, сверкая своими упругими икрами, вылетает из класса, было просто невозможно. Она всегда двигалась как-то слишком медленно, по-мужски. И плечи у нее были шире таза, а я тогда уже понимал, что это для женщины — большой недостаток. Среди прочих женщин-учителей я бы хотел упомянуть Дору Григорьевну, "немку". На самом деле — рыжеватую, веснушчатую, всегда подтянутую еврейку. Учить немецкий, похожий на мой родной идиш, диалект немецкого, который звучал в нашей семье едва ли не больше, чем русский, было очень легко. И в дальнейшей жизни в Германии он мне очень пригодился.

Теперь, разобравшись с учителями, пора бы перейти к моим товарищам-учени-

кам. Были среди них особо близкие. Иных уж нет. Нет Илюшки Штилькинды — прирожденного математика, "светлая голова" которого блистала на уроках "Ефима". Тот был хотя и рад своему лучшему ученику, но в другой раз его позорил: "Ты не Штилькинд, ты — Шум-кинд и Гром-кинд", — говаривал он, не боясь последствий. Не посмел бы он так сказать, например, Володе Коляде, сыну главного редактора одесской областной газеты Ивана Коляды. Володя был одним из моих близких приятелей, марочным партнером. Жил он совсем рядом, через дорогу, на Пушкинской улице, в доме — бывшей гостинице Сикара. Его очень важный газетный папа получил, как потом выяснилось, квартиру, где жил Пушкин в свой одесский период. На дверях своих апартаментов редактор облгазеты прибил табличку: "Здесь жил Пушкин, а теперь живу я, Коляда. Вот это да!"

Бывая у моего товарища, я поражаюсь пустоте и незагруженности мебели больших и просторных комнат, коих было штук пять. Мама у Володи была армянка, очень, как мне казалось, красивая, так же хороша была его тетя, мамина сестра с историческим именем Эра. Был у него братик Витя, не такой показательный отличник, как брат, со всегда шикарным, до блеска выглаженным галстуком. "Ефиму" было, я чувствовал, приятно выслушаться перед знатым и влиятельным учеником, когда он говорил ему на волжский манер "мОлОдец ВОлОдя". А тот действительно был отличником и шел всегда чуть-чуть впереди меня и Розы Векслер. Пока не появилась в нашем классе приехавшая из Киева — тоже с очень влиятельным папой — Жанна Шевеленко, которая быстро вышла в лидеры.

Появление Жанны внесло в мою спокойную жизнь, в основном беззаботную (ибо учение давалось мне без особого труда в обеих школах), несколько новых беспокойных ощущений. Судьбе было угодно, чтоб она сидела за партой передо мной наискосок, так, что я всегда видел лишь розовое ушко до золотистый непослушный локон, который то и дело выбивался из аккуратной прически. Ее маленький мизинчик, слегка оттопыренный, когда она поправляла волосы, до сих пор стоит перед моим взором. Я не то чтобы был влюблен в Жанну, просто она была в моем представлении персоной, наконец, достойной моего особого расположения и внимания. Мы с ней, по моему ощущению, были одного поля ягоды. Это было ново в моей жизни.

Ни "мальчишка" — веселая Наташа Коренева, которую я знал еще с детского сада и которая, как только соединили мужскую и женскую школы, оказавшись в нашем втором "А", тут же, как вошла, бросилась ко мне за парту, и просидели мы с ней весь второй класс, да так и остались друзьями навсегда. Ни Роза Векслер, очень способная и полная спокойного достоинства толстуха со вполне и рано образовавшимися женскими признаками, которые в моем представлении делали ее старше на много лет, а потому не могущей являться объектом моей страсти. Надо сказать, что идеал красоты для меня в то время визуально определялся портретом Бакуниной, лицейской пассии Пушкина, который я увидел в те годы в новом собрании сочинений А.С. П. А если не говорить о внешнем образе моего идеала, то это, пожалуй, княжна Мэри. Нравилась мне еще одна из сестер Булавиных из фильма тех лет "Хождение по мукам". Это Даша, которую играла малоизвестная артистка Веселовская, а вовсе не замечательная выдающаяся Катя — Руфина Нифонтова. Но что я тогда мыслил в искусстве, да и в жизни вообще?

Лишь дивный запах каких-то духов (может быть, "Красной Москвы") остался в моем детском восприятии рядом с образом чудной Даши на просмотре одного из первых широкоформатных фильмов в перестроенном одесском кинотеатре Фрунзе. Так они и идут со мной по жизни — образ щемящей женственности и прекрасный запах "ихних" духов. Нет, с Жанной ничего этого не было. Но если бы мне тогда пришло в голову то, что потом сформулировалось с годами четко и ясно — на таких, как она, женятся! Тогда же интуитивно я знал, что это "хорошо" и что это то, что надо. Но после восьми классов моя жизнь совершила крутой поворот, и дорога искусства увела меня в другие края. А Жанна пошла своей дорогой. Наши пути пересеклись спустя годы в обожженном чернотельской радиацией Киеве. Но как же поздно это было!

(Продолжение следует.)

Эвелина ШАЦ Подношение Хлебникову

"Операция "Ладомир", 19 подношений итальянских художников Хлебникову, перевернула вверх тормашками (в любом случае, рано или поздно, все этим бы и кончилось) издательство "Эль Багатт" в Бергамо. Это небольшое издательское дело принадлежало одному слегка ненормальному художнику, некоему Клаудио Гранароли, который в течение многих лет упорствовал в поисках своего финансового краха, бесплатно публикуя поэтов. Этот бедолага, пораженный неотразимой идеей одного из своих авторов, поэт Эвелины Шац, опубликовать стихи Велимира Хлебникова, пустился в поиски типографии, которая бы отпечатала офорты художников к стихам. Нашел типографию, отличного печатника-героинмана (ему помогала маленькая Гарпия, которая

через некоторое время выкупила уже находящееся в агонии из-за крупных расходов на офорты издательство), осуществив таким образом "блестящую" издательскую операцию. Как говорит старая народная пословица, "и из дерьма можно вырастить прекрасный цветок".

А что же дальше? "Операция "Ладомир" перевернула вверх тормашками не только жизнь издательства, но и Эвелины. 19 драгоценных альбомов выставлялись по всей Италии, затем в 2000 году в Литературном музее в Москве и в Музее Хлебникова в Астрахани. А в 2010 году была тем творческим узлом, вокруг которого развернулся I международный фестиваль в Москве и других городах России и Украины "Приношение Велимиру", отметивший 125 лет со дня рождения поэта.

А Эвелина со времен "Эль Багатта" продолжает свой проект прямым приношением Хлебникову. Выставки, ему посвященные, в России и в Италии, во многих городах, с её подачи. Переводы. Дюжина стихов, ему посвященных, несколько статей и публикаций. Книжки-объекты. Мультимедийный проект "Ладомир" в Европейском институте дизайна в Милане, там же студия её сына Еудже-нио Альберти Шац "LADOMIR". И, наконец, её мини-издательство "caff?LADOMIR".

Но и она получила свои приношения от поэта, с которым у неё загадочная связь. В Одессе он останавливался на Белинского, 6, где родилась Эвелина. А в Москве она живёт на Брянской, 2, где жил Май Митурич, с которым она дружила, а сейчас в его мастерской работает Вера Хлебникова, талант-



ливая продолжательница славного рода. Их книги художника порой так же загадочно встречаются на выставках. Что нашептывают они друг другу?

Степистость чисел

вариации

Хлебников
суть
степь
число
расстояния
разметать
разность
Великая степь
есть
Велимир
век
хлеб
число
мир

у Велимира
степь — расстояние
степь Великая
древняя ст?пистость
принадлежность ей
знака кочевья
Велимир суть число
а число, что век

чисел познание —
имярека гадание

1996 — 2007.

Как Улуг-бека голова
слова катились
по линии секстанта вниз
и звёздами дробились
и неба дробь
стучала беспокойством
и хлопком пах халат
где сердце Азии в обхват России,
идущей в небо Хлебникова

и Велимировым пределом синим
замиравшей, в набат стучало

шагом

1989.

Молилась Богу следующего века
Всегда обитала всякие времена
Вёрсты неслись
как прерии вестерна
Под копытами скачущего коня.
Стекались истории и пути
В пространство тесное

киноленты.
Синтез был совсем не простым
Цена была в беспощадной монете:
Жить, а не просто так выживать
После каждой констатации смерти.

1996 с итальянского 2013.

TRATTATELLO 92

Когда не умирают люди, когда не идёт война, останавливаются часы любви. Тогда наступает русское время: ничего-никто-никуда. Как серебряная паутина мостов, оно встаёт над бесконечной равниной. Пешеходов не видно, и нет фонарей, и часы разливаются предметностью Сальватора Дали, и последняя капля красной крови рвётся в Чёрную Дыру, поглощающую незащищённое пространство, обделённое временем или от него освобождённое. Не есть ли это выход в антимир, где не существует чумы-творения, и бешеная температура любви и страсти, воли к памяти и цвету становится комнатной и приобретает цвет неосвещённого подвала или в лучшем случае

чердака, откуда давно уже вывезли воспоминания детства, не оставив и следа от поисков потерянного времени, где ветхие книги о кораблях не пахнут даже плесенью, а от мешанской бутафории несёт засушенными клопами.

У чумы — цвет потрясения, он отдаёт сознанием ужаса и великолепия конца. Конец — как Барокко, как тяжёлая парча. Драпировка её — геологические складки творения мира: в них нет и следа утопии. Утопия прекрасна, как война: она жаждет крови. Живительная лимфа. Книга о красном цвете пишется человечеством до самого ухода сознания в чёрное: ноль цвета над вечным покоем. Не вечной остаётся только любовь — камень преткновения преходящего времени или, скорее, канат, по которому на пуантах смысл проходит, как акробат над городской площадью, на высоте шпильей готических соборов мира. Они устремляются в ноосферу. Она не суть антипространство. Высота складывается из чистоты и сини, пронизанных золотыми двупальными лучами вдохновения Хлебникова и... Эхнатона.

1992.

Когда они умирают

Когда умирают деревья
падают листья
Когда умирают звери
дыхание их тяжело глохнет
Когда умирают верблюды
их оплакивают
как корабли пустыни
путь которых не знал зачина
и конца

Когда умирают корабли
их на куски растаскивают
по антикварным лавкам
Когда умирают автомобили
их пускают на металлолом
чтоб затем переплавить
на металл

Когда умирают статуи
они теряют руки
и земля заглатывает их
Когда умирают чувства
слова становятся
несправедливыми
или вовсе напрасными

Когда умирают люди
остаются воспоминания
которые выцветают
со временем
как старые фотографии
некоторые однако обладают
дикивинным свойством
воскрешения

Когда умирают солнца
наступает закат души
и долгая неизведанная ночь
творения ?
так замирает жизнь

1983 с итальянского 2013.

квази хайку

ведь нет вообще таких
как Хлебников
он Ад вобрал в себя
и просто не-был
а небом встал

2005.

Под свист безумных звёзд

Но я хочу, чтобы, когда я
трепещу,
общий трепет приобщился
вселенной.
В. Хлебников.

В пространствах многообразных
Кочевье королевское
поэтов-дервишей
Так небеса их песней
насыщаются
И разбегаются куда глаза глядят
Галактики под свист
безумных звёзд
Их хоровод и весел и трагичен
И небо опрокинутое вспять
Эпичностью мерцает

2008.

Тень в ночи или так множится Я

трехипостасная тень надмирия
— что есть быстрее тени
на свете —
в архаическом
змейгорыныча мире
удушающая вертикаль
бесстепья —
на трехбуквии — красный снег.
Тень обливается снегом и рдеет
— что есть быстрее тени

в степи —
бежит по *здесь-и-сейчас*
быстротечному
бьётся как серая рыба в сети
а далеко, в том Далеко!

в неба размах
красная тени тень бьётся,
тревожно тцась
выпрыгнуть из бесстепья
кофейного

падает в чёрные яры-овраги
по бездорожью сеет следы
трёхмерно мчит
в пропасти-ады:
Книга, любовь, война —
творящая Trinita?

Экрана самоцветие —
серо-чёрная мира дыра.
Чёрная ночь Отсутствия
трёхглазие разворачивает
фонтанами многоцифрия.
Так возбуждается будущее.

Так множится Я.
Надмирия многоцветие —
его колыбель и семья.

Небо над степью капает
красными звёздами Ада

2008.

Под сенью бирюзовой Исфахана

как птица хохлился поэт
одетый в оперенье серое
задумчив был как аист он
безумен как число

глаза — каспийский пейзаж —
голубизну Беллини льют
в персидские моря — босой
верблюда морда знать мудра
у дервиша, у гулль-мулла.
Так Персия
пылила синью изразцовый
под сенью бирюзовой
Исфахана
и неба зауими голубизной.
При этом пылая красным
— цвет граната —
и Параджанова мечтой

2009.

Голубое вино Велимира

Чураясь дня, чаруй
чарой голубого вина меня
В. Хлебников.

На необитаемом острове
— да есть ли он?
безгрешен сон
— да бывает ли он таким?
Фрейд устарел.
Поэты впрочем тоже
остался *сон-поэт*
иль сна поэзия двулика
ведь Мандельштама
огромную бессоницу
не зачеркнуть
и сны бывают похожие
на обморок.

Мой сон — *сон-гул*
а вовсе не поэма. Иногда кино
а как хотелось бы ночами пить
внезапно *голубое*
велимирово вино

2009.

Смыслы другого порядка

ты звезда для меня.
Угол моего угла
верен. Я разбиваюсь
о камни чужие
они не умеют и вовсе
смеяться.
Я всегда — слух
не только тогда, когда
трудно было тебе
умирать
угол сердца моего
всегда верен тебе
в мире смыслов
другого порядка

2009.

Когда он миру открывал

Где жжется рукопись,
где яростно живет
на Хлебникове и воде
Александр Кабанов.

он с облака сорвался
и гладил по головке
Млечный путь
и Боги были ему братья
когда он миру открывал
внезапно умные объятья.

В прозрачном будущем
терялось чувство времени
а он на палубе стоял
предвидения пространства
и лошадей пытался этому учить
"чертой обратности событий"
он слово превратил в число
и воплотил почин забвения себя
идя путём себе лишь ведомым
и пыльным черепом тоскуя
по здоровой морде
дервиша-верблюда
с персидских берегов
хазарских вод

2010.

На зов степи

он шёл "по солнцу"
как Разин наизнанку из Заволжья
иль дервиш
старообрядной чистоты
оттуда в утопическое завтра
устремлённый
его на то сподвигла
языческая задумчивая удаль
оксиморон? да, нет, пожалуй
тальвеги перекаты плёс
и даль равнинная, и как утёс
полынным жаром опалён
он степью как калмык влеком
стихом на зов степи заколосился
— загадочное шаманье
бормотанье —
и небом утомлённым отразился

2013.

Одесский меридиан Жене Голубовскому

Солнца, когда они любят,
Одевающие ночи тканью
из земель
И шествующие с пляской к
своему другу
В. Хлебников.

на Белинского 6,
где жила Велимир
родилась я нежданно нежданно
это голос одесских небес
отражения
в нём каштанов насмешливый
шёпот
и таинственный знак провидения.
я бегу по степи,
что размашисто мчит
от лиманов до Астрахани,
где Аист стоит
волны трав как трансляция
вязкого ля
древним всадникам-звукам
степным-кочевым
так ризома поёт *голубое вино*
Велимира — в нём
трепет Вселенной
я за солнцем к нему
в кочевую юдоль

ждёт он друга,
что любит как солнце
на Белинского 6 начался этот бег
он не знает ни меры, ни времени
так бегут звери, солнца
и мерины, так бегут
землежителю, Боги и люди,
когда они любят

2013.

Марк СЕРМАН

О моей маме

Руфь Зернова (Руфь Александровна Зевина) — прозаик, переводчик и журналист — начала свою карьеру с переводов. Эта была ее специальность, полученная в университете, к которой она то возвращалась, то уходила в собственную прозу, то снова возвращалась, как, в частности, с переводами мемуаров Голды Меир, Эли Визеля и "Истории русской литературы" Святополка-Мирского, сделанными в конце жизни. Ее первой ступенью на пути к собственной прозе были очерки для "Юности", "Огонька" и "Звезды", в которых уже видны черты писателя, ищущего элементы человеческого, скрытые в сером монолите советской действительности. Ее дебют — рассказ "Скорпионовы ягоды", напечатанный в "Огоньке", для многих был открытием и если не окном, а еще только форточкой, но одной из первых таких форточек во внутренний мир человека, забытый и заброшенный за долгие годы "великих свершений", воздвигнутых на костях того же человека. С момента выхода "Скорпионовых ягод" у Р. Зерновой начинается карьера писателя в Советском Союзе. Ее принимают в Союз писателей, она получает премию "Огонька" за лучший рассказ, ее печатают в "Новом мире", "Юности", ее книги переводят на языки стран т. н. "народной демократии" — немецкий, польский, чешский, словацкий; посылают во Францию с делегацией Союза писателей. Все это обрывается в момент эмиграции Р. Зерновой и ее мужа И. Сермана в Израиль, где начинается другая, "западная", часть ее жизни. За время своей жизни в Израиле Р. Зернова, издала 5 новых книг прозы, напечатанных в Америке и Израиле, и многочисленных переводы, изданные как на Западе, так и в России. Ее собственная проза переведена на многие европейские языки.

Родилась Р. Зернова (Руфь Александровна Зевина) 15 февраля 1919 года в Одессе. Квартира Зевиных того времени надолго запомнилась тем, кто там бывал. Вот как описывает их жилье подруга Руфи Александровны Е. Марголина в своих воспоминаниях "Мы, одесские девочки": "Мы с Руней родились и выросли на тихой и тенистой Кузнечной улице. Недалеко от нас располагалась Прохлантская, Дегтярная и Каретный переулочек — это был старый район, от которого до Дерибасовской 5 минут ходу. Руин дом был новее других, угловой, красивый. Квартира в высоком бельэтаже, высокая дверь в подъезде, несколько ступенек, передняя и большая квадратная с блестящим паркетом столовая. Много книг в шкафах. Направо гостиная с пятью окнами, одно угловое. Мягкий ковер, диваны, пианино". Заметим, что на фоне "довольной" и быстро исчезающей роскоши запомнились шкафы с книгами. Продолжалось это благополучие недолго, так как детство Руфи пришлось на период консолидации Советской власти, выразившейся в том, что правовое и материальное состояние людей становилось все хуже и хуже. Квартира Зевиных в Одессе, на Спиридоновской, из отдельной барской квартиры со своим парадным входом превратилась после нескольких уплотнений в коммуналку.

Отец Руфи Александровны — Александр Борисович Зевин — был человеком редкого ума, нестандартного мышления и исключительного по силе, даже магического красноречия. Его разговоры с людьми, по свидетельству многих, превращались в монолог Александра Борисовича почти с самого начала. Ему принадлежат два запомнившихся многим высказывания. Одно — в мае 1940 года, когда немцы входили в Париж: "Мир спасет Советская Россия" и после паузы — "Как это ни странно". И еще одно, конца лета 1942 года: "Немцы будут остановлены под Моздоком". Это было уже в момент летнего наступления немцев. Были и другие, парадоксальные на первый взгляд и, тем не менее, безошибочные суждения, которые, как своеобразная шоковая терапия, не могли не стимулировать мышление будущей писательницы. Сам Александр Борисович был горячим патриотом России, сторонником ассимиляции евреев. В молодые годы он ушел с первого курса юридического факультета Одесского (Новороссийского) университета вольноопределяющимся на войну 1914 года, откуда вернулся после ранения. В самые тяжелые годы сталинского террора Александр Борисович читал только Толстого и Гоголя. Интересно, что его брат в эти самые годы стал убежденным сионистом и одним из пионеров — первых поселенцев Израиля. Патриотизм А.Б. Зевина не мешал ему, однако, называть Советскую власть всегда одним и тем же емким термином "эта банда!".

Мать Руфи Александровны после окончания гимназии вышла замуж и не работала до того момента, как от их изначального благо-

получия остался лишь адрес, по которому они по-прежнему проживали, но уже в качестве уплотненных жильцов. Татьяна Марковна Зевина — тоже незаурядная и артистическая личность, которой даже предлагали место актрисы в Еврейском театре, стала учительницей младших классов в 45-й школе, в которую впоследствии поступил ее внук, автор этой заметки, и проучился там всего один год — это совпало с освобождением Р.А. Зевин и ее мужа И.З. Сермана из лагеря и возвращением в Ленинград. Об этом подробно рассказано в новелле М. Сермана "Свидание" в сборнике "Руфь Зернова — четыре жизни".

Таков был фон ее юности — родители, их друзья, да и сама по себе всегда самобытная Одесса, уже тогда становившаяся источником новых литературных и музыкальных талантов, таких как Бабель и Багрицкий, Катаев, Ильф и Петров, Ойстрах и многие другие. Она возвращалась в Одессу несколько раз и много раз в прозе, в повести "Солнечная сторона", в мемуарных вещах, однако, в юности, после окончания школы, ей было понятно, что она уедет учиться в "центр". Известно ей было лишь то, что она осознала позже: с собой она навсегда увозила Одессу своего детства и юности; свою музыкальную Одессу: с одной стороны — Одессу Столярского и классической музыки, а с другой — частушек и шансонеток, которые пела вся страна. Вообще пение было абсолютно неотъемлемой частью образа Р. Зерновой. В ее прозе и воспоминаниях поют все, начиная от ее отца и кончая одесским сумасшедшим по прозвищу Шалыпин, исполнителем одной бесконечной высокой ноты, поют и лагерные персонажи — частушки, а люди из Одессы 20-х годов — шансонетки. Замечательно пела и играла на гитаре и она сама, и даже сделала передачу для Би-Би-Си "История Советского Союза в песне".

Вернемся к юношеской мечте Руфи о том, чтобы уехать в "центр". Это означало либо в Москву, либо в Ленинград — она выбрала Ленинград, романское отделение ленинградского филфака — тогдашнего центра формализма, где уровень преподавания определялся такими столпами науки как Гуковский, Эйхенбаум и Жирмунский. Ей повезло с учителями, да и с соучениками: Ефим Эткинд, Ахилл Левинтон, Владимир Шор, Георгий Степанов, Илья Серман — все они стали известными и влиятельными учеными, исследователями и переводчиками. Но в этот момент они были студентами, а многие — и бывшими одесситами, которые к таким же провинциалам, да и еще и девушкам, относились с недоверием, и этот барьер недоверия Руфи Зевин пришлось преодолевать довольно долго. В своей книге "Длинные тени" она назовет переезд из Одессы в Ленинград "моей первой эмиграцией". Многим из нас это состояние эмигранта — внешнего или внутреннего — до боли знакомо.

Р.А. Зевина была очень сложным человеком, в котором сочетались такие несочетаемые вещи, как высокая степень разносторонней образованности и непререкаемая категоричность. Эта категоричность особенно видна в ее публицистических пассажах, "где в борьбе за правду забывается истина". В ее характере было нечто, что соседствовало с необыкновенной одаренностью и выдающимся умом, нечто, что можно было бы назвать духовной осиротелостью, как если бы она все еще была той потерянной провинциальной одесской девочкой, попавшей в большой и чужой город и нуждающейся в отчаянной защите от всего, что ей кажется опасным. Она была, с одной стороны, безусловно выдающимся человеком, а с другой — представителем своего поколения, у которого душа покрыта таким количеством шрамов, что душе очень трудно пробиться наружу. У Р. Зевин одна сторона ее души проглядывала в разговорах: они, как правило, были веселыми и оживленными. А другая — в прозе, где ее голос менялся и слышалось то, о чем она никогда не говорила: ее боль и ей одной понятные страхи, которые она так хорошо видела у других, у своих будущих героев.

"Я посмотрела, и вдруг мне почудилось, что в глубине синих эмалевых глаз ходят страхи и взмахивают хвостами, как рыбы".

Свою судьбу она старалась создать сама по плану, известному только ей самой, — и судьба ее сложилась очень непросто. С третьего курса университета она пошла добровольцем на курсы военных переводчиков с испанского, и прямо с курсов их, недоучившихся студентов: Р. Зевину, Д. Прицкера, Г. Степанова, В. Столбова и многих других — отправили в Испанию на войну с Франко. С этого момента испанская часть личной истории этих людей уже никогда не будет ими

забыта, а сила впечатлений и переживаний будет одних вдохновлять на более глубокое изучение страны и языка, а Р.А., которая много лет спустя все еще пела песни Республик, — на написание таких рассказов как "Баклао", "Два дня в восточных Пиренеях". Да и в других рассказах нет-нет, да и проскользнет упоминание о зное и пыли фронтовых дорог и вине, которое дешевле воды...

После возвращения из Испании Руфь Александровна работала в Наркомате морского флота, затем поступила на работу в ТАСС и была эвакуирована в Ташкент. В Ташкенте, куда было эвакуировано много ленинградцев, она вновь встретилась с бывшим студентом ЛИФЛИ И. Серманом и вышла за него замуж. Там же у них родилась дочь Нина. После окончания войны они вернулись в Ленинград, и их семья пополнилась сыном, которого назвали Марком. Казалось бы, что началась спокойная и мирная семейная жизнь в довольно просторной (по тем временам) профессорской квартире родителей И. Сермана. Однако дорога судьбы Руфи Александровны и ее семьи сделала именно в этот момент один из самых резких поворотов: ее и ее мужа арестовывают и осуждают — Руфь Зевину на 15, а И. Сермана на 25 лет по статье 58.10, "за антисоветскую пропаганду и агитацию". Шел 1949 год, год Ленинградского дела и оголтелой антисемитской кампании против "безродных космополитов". Весной 1949 года Р. Зевина и И. Серман отправлены этапными в разные концы страны. Их дети тоже разделены между дедушками и бабушками в Ленинграде и Одессе.

К теме лагеря так же, как и к Испании, писательница возвращалась постоянно. Как и в Испании, она вновь стала свидетелем человеческой трагедии, но уже не наблюдателем, а невольным участником и жертвой одновременно. Здесь испытаниям подвергаются ее только что устоявшиеся представления о себе, жизни и морали. Единственное, что помогало Р. Зерновой выдержать лишения и испытания, было ее твердое сознание, что

все надо "...запомнить, чтобы знать, рассказать, описать...". И записать, и запомнить особенно ей удалось. Уже два года спустя после освобождения она пишет рассказ "Кузькина мать", где человеческая судьба и нечеловеческие страдания показаны на душераздирающем фоне почти материнской любви и заботы заключенной и обездоленной женщины к еще более беззащитным существам: котенку и лисенку, которые, в свою очередь, наравне с людьми становятся жертвами ГУЛага. В рассказе отсутствует открытая гражданская патетика, но само содержание рассказа — это прямое обвинение в бесчеловечной жестокости, дикости и бездуховности, царившей в советском государстве пятидесятых.

После эмиграции и во время жизни на Западе Р. Зернова начинает писать на темы, которые или были запрещены, или оставались привычными табу в Советском Союзе. Это очерки и эссе о судьбах еврейства, антисемитизме как мировом веянии, возникающем независимо от политического строя, о консерваторах и либералах, еврейской религии, как она ее понимала и переосмысливала уже на Земле Обетованной — т. е. в ее писательской кухне шел процесс осмысления происходящего вокруг: будь то повседневная жизнь лаборантки Орны (в одноименном рассказе) или культурные и политические изменения в новых поколениях русских эмигрантов в Катскильских горах Америки ("Дачные соседи").

Р. Зернова и И. Серман много путешествовали, профессор Серман читал лекции в различных университетах Европы и Америки, писательница-филолог Зернова всюду его сопровождала, иногда активно участвуя и в университетских программах.

Вообще вся судьба Руфи Зерновой звучит как непрекращающийся путевой роман: Одесса, Ленинград, Мадрид, Барселона, Париж, Одесса, Ташкент, Ленинград, Амурская Средне-Белая и Бокситогорск (лагерь), Ленинград, Иерусалим, Нью-Йорк, Рим и т. д.

Смерть застала ее 15 ноября 2004 года в Иерусалиме, столице Израиля, который возник как государство тридцать лет спустя после ее рождения.

Болезнь ее была трагична: она сразу же лишилась того, что для нее было основой всей ее жизни — речи. И мы можем только догадываться, удалось ли ей сказать то, о чем она писала в своих последних работах: "Только бы успеть..."



Евгений ДЕМЕНОК

МЫСЛЯТА и МЫСЛИЩИ

ИЗ СЕРИИ "ГЕНИАЛЬНОЕ РЯДОМ"

Атеисты верят в Бога, которого нет.

Если ты умер — делай вид, что ничего не произошло.

Искусство — тонкий слой масла на черстом хлебе борьбы за существование.

Земля. Планета с плохим менеджментом.

Девушки на дискотеку приходят обычно в поисках плохих танцоров.

— Петя, а как у тебя с сексом? — Ушел из большого в настольный!

Лучше всего быть астрономом. Звездный час наступает у астрономов каждый день.

Устами младенца глаголет истина. Получается, истина агукает и гулит?

Уровень развития общества характеризуется чистотой общественных туалетов.

Всегда с опаской хожу в спортзал. Боюсь наступить на потерянные кем-то калории.

Лошадей бояться — Пржевальским не стать.

Не стоит ни для кого разбиваться в лепешку — съедят.

"Девушка с ненакрашенным глазом". Портрет.

Все носят толстовки, а я из принципа надежду достоевску.

Киев и Стамбул расположены на окраинах Большой Одессы.

Немалая Арнаутская.

В упавших акациях город... Одесса после урагана.

Одесская кондитерская фабрика вывела на рынок новую марку конфет с ностальгическим названием "Мишка Япончик на севере".

Несколько мыслей о родном и любимом городе

1. Если Одесса — мама, то её дети — это мы, одесситы, правильно?
2. Если да — где наш папа?

Когда Овидий жил в изгнании, он часто приезжал на маршрутке в Одессу и ходил по дискотекам и ночным клубам.

Легенды и Фимы Древней Греции.

Незаслуженно народный артист.

Счастье — это когда хорошо, но точно знаешь, что будет еще лучше.

Порше ля фам.

Уходящей натуры у нас полно, а вот с приходящей проблема.

Написал трактат о свободе слова. Слова почувствовали себя свободными и сбежали из него.

Пора брать, пора!

Любви все возрасты покорны.

Курсы койки и житья.

Все время слышим: "Культурная столица, культурная столица..." Культурная столица возможна только при наличии культурной провинции, иначе это — культурный оазис в пустыне.

Настоящие макароны по-флотски варятся в морской воде.

Полковник снова зашел в электронную почту. "Никто не пишет, — пробормотал он. — Вернусь в "Фейсбук".

Из подслушанного: "Сколько раз вы были замужем?" — "Третий раз, и снова — брак".

Эволюция моды: от брюк-дудочек к шортам-флейте.

В советские времена тотального дефицита особо ценилось умение достать нужную вещь. А задал тон всему этому Маяковский, который первым достал из широких штангин...

Последовал призыву называть вещи своими именами. Теперь мой телевизор, стиральную машинку, компьютер и кровать тоже зовут Женя. Завтра продолжу.

В спорах не только рождается истина. Спорами также размножаются грибы.

— Костюмчик Евы Вам великоват...

Если уж и изменять Родине, то с красивой девушкой.

Свято место пусто не бывает. Но и несвятое обычно не простаивает.

Гранатовый сок. Просто выдерните чеку.

Пустить пулю в лоб — все равно, что козла в огород.

Как говорил один мой знакомый: "Если труд сделал из обезьяны человека, то лучше бы я остался обезьяной".

Если и ставить будильник, то только в угол.

Обидеть боксера может попробовать каждый.

В современном прочтении наверстал — это на километр?

Серая масса серого вещества.

Начальники бывают непосредственными и посредственными.

"Скажите, у вас ручная кладь есть?" — "Есть! Как раз недавно приручил".

"А я себе домик с бассейном купил!" — "Ух ты! И большой бассейн?" — "Карибский!"

Если искать свет, нахрена вообще заезжать в тоннель?

Любовь к Родине у нас редко бывает взаимной.

"Те саме мучо". Украинская народная песня.

Никогда не откладывай на завтра то, что хочешь поручить сделать другому.

Человек — это двуногое животное с айфоном.

Первый закон Вселенной: Вселенная гибко меняется вслед за изменением наших представлений о ней.

Валейбол. Русская национальная игра.

Каждый половой акт — это часть большой половой пьесы.

Закон Архимеда — Деменка: "Тело, погруженное в прохладную воду, гораздо легче переносит летнюю жару".

Чем чаще моешь голову, тем светлее в ней мысли.

Некрасивой водки не бывает.

"Прожить жизнь надо так, чтобы было не мучительно больно, а мучительно приятно". Леопольд Захер-Мазох.

Одноклеточные существа — соседи по лестничной клетке?

Эволюция одной страны: от банановой республики — к банановой диктатуре.

Послевкусие — это наша эпоха. Времена хорошего вкуса позади.

Все самое лучшее в нашей жизни случится завтра.

Если спать в очках, сны видны гораздо лучше.

Перед тем, как покончить с собой, подумай — возможно, лучше покончить с другими.

Все мы — нервные клетки Создателя. А нервные клетки, как известно, не восстанавливаются.

Молодым везде у нас дорого.

Цель оправдывает средства массовой информации.

Труднее всего вербовать невербально.

Время от времени роаяль в нетерпении выглядывал из кустов...

А если энтузиазм еще и одеть! Вообще горы свернет.

Юмор — это "Виагра" для настроения.

Получается, Земля вращается вокруг Солнца вместе с китами, слонами и черепахой, на которых стоит?

— Умом? Россию? Ни за что!

А ведь мат бывает и благим!

Международные женские дни.

— И боже вас сохрани — не читайте за обедом советских газет, Штирлиц! — сказал Мюллер.

9 апреля в очередной раз отмечался Международный день без денег. Рождённый инициативой одесситов благодаря решению Генеральной Ассамблеи ООН — по аналогии с Международным днем Земли, он приобрел официальный международный статус. В этот день все желающие не продают друг другу товары и услуги, а меняются или отдают их бесплатно. Официальный девиз Международного дня без денег: "Бог все дал людям бесплатно". День без денег начался со скромной инициативы владельца одной из одесских кофеен и сегодня, спустя всего несколько лет, приверженцы этой идеи отмечают его более чем в тридцати странах на четырех континентах.

Гоп-нон-стоп. Образ жизни и способ творчества.

Внимание! Впервые! На Венецианской биеннале — в молдавском павильоне — венецианская штукатурка!

Сегодня в нашем клубе вечеринка "Запах женщины"! Нюхают все! (Из объявления.)

Никак не пойму: Вселенная — это потому, что в ней собрались все Лены или потому, что всем лень?

А вообще пора организовать Олимпиаду искусств. И символом ее будут не олимпийские кольца, а олимпийские квадраты. Для Европы — белый, для Азии — желтый, для Африки — черный квадрат...

Страны Третьего Рима незаметно стали странами третьего мира.

Если горячительные напитки умело чередовать с прохладительными, температура тела всегда будет оптимальной.

Отрадно сознавать, что за любой тучей всегда скрывается солнце.

В Одессе лето...



Фото Олега Владимировского.

Редактор Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы. Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

Дизайн и компьютерная верстка: компьютерный центр ТИА "Вікна-Одеса" (тел. +38 067 48 03 705).

Регистрационное свидетельство N 508. Тираж 1000. Заказ N Газета отпечатана в ИПП "Печатный дом".

Адрес редакции: 65014, Одесса, ул. Маразлиевская, 7. Тел. 725-45-67, 725-53-68 www.odessitclub.org.